

18+

ПОЛНОСТЬЮ СЕКРЕТНО

Классификация 2 - хранить наравне с документами

ДЮЖИНА · КНИГА ПЕРВАЯ



ФОРМА ДОПУСКА

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВ

Алексей Константинов Дюжина. Книга первая. Форма допуска

<https://litres.ru/74465093>

ISBN 9785007121385

Аннотация

Мальчик утонул пятнадцать лет назад — тело не нашли, дело закрыли. Теперь в посёлке Ключевой у стариков сбывается несбывшееся: к вдовцу вернулась умершая жена и варит борщ. По домам ходит служба, которой не существует, и меряет горе в единицах. Участковый Артём Савельев задаёт вопросы — и узнаёт, что приехали за ним.

Содержание

ПРОЛОГ	6
АКТ ПЕРВЫЙ	12
ГЛАВА ПЕРВАЯ	12
Юбилей	12
ГЛАВА ВТОРАЯ	22
Карантин	22
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	30
Выписка	30
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	39
Теплица	39
ГЛАВА ПЯТАЯ	48
Перевод	48
ГЛАВА ШЕСТАЯ	56
Концерт	56
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	63
Кольцо	63
ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ ПЕРВОМУ	72
Материалы фондов. Допуск: форма 1 и выше	72
АКТ ВТОРОЙ	77
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	77
Ложка	77
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	85

Конец ознакомительного фрагмента.

Дюжина. Книга первая

Форма допуска

Алексей Сергеевич
Константинов

© Алексей Сергеевич Константинов, 2026

ISBN 978-5-0071-2138-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0071-2139-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Водохранилище лежало в берегах тяжело и ровно, как ртуть.

Воду сюда пустили в пятьдесят восьмом. Под водой остались четыре деревни, кладбище, могилы с которого так и не перенесли, и колокольня, которую не стали взрывать — торопились к съезду. В сухие годы крест выходил из воды по самое яблоко, и тогда на берег приезжали из района: смотреть, фотографироваться, креститься тайком. Потом вода поднималась, и крест уходил обратно.

Местные говорили: вода помнит. Говорили без всякого смысла, как говорят «к дождю ломит кости», — просто приписка, оставшаяся от бабок. Никто из них не знал, что в трёхстах километрах, в городе, которого нет на картах, эта приписка слово в слово записана в документе с грифом и входит в регламент наблюдения за объектом.

Двенадцатого августа вода помнила особенно сильно.

С утра над водохранилищем стоял штиль — не просто тихая погода, а полный, глухой штиль, какого на большой воде не бывает. Рыбаки вернулись к девяти: не клевало, да и — как они потом путано объясняли участковому — «не сиделось». Всем троим. Одновременно. Собака сторожа лодочной станции выла с шести утра, к полудню замолчала и забила под настил; ещё двое суток её не могли выманить от-

туда ни едой, ни лаской.

А в четыре часа дня на дальнем пляже, у сосен, куда деревенские ходили купаться всю жизнь, восьмилетний Митя Савельев зашёл в воду по колено — и остановился.

— Тём, — сказал он, не оборачиваясь. — А там музыка.

Его брат Артём, двенадцати лет, сидел на песке и перематывал изолентой треснувшую удочку. Ему было поручено смотреть за Митей — как поручают в деревне: всерьёз, но между делом. Он поднял голову. Потом, годы спустя, он возвращался к этому мгновению тысячи раз — во сне, в темноте, в казённых кабинетах, где вежливые люди просили «ещё раз, с того места, где брат вошёл в воду», — и всякий раз опаздывал на те же полсекунды.

— Какая музыка, дурак? — сказал Артём. — Вылазь, губы синие.

Митя стоял по колено в неподвижной воде и слушал. И на полсекунды Артём услышал тоже — об этом он потом не сказал никому: ни следователям, ни врачам. Из-под воды, издалека и снизу, чисто и ровно шёл колокольный звон. Не набат — благовест, мерный и праздничный. Под ним, тonyше, играло что-то вроде гармонии. А совсем в глубине были голоса — много голосов, как на свадьбе за деревней: слов ещё не разобрать, но уже слышно, что людям там хорошо.

Там было хорошо. Вот что самое страшное, вот чего Артём пятнадцать лет не говорил никому: там было *хорошо*.

Потом эти полсекунды кончились.

Он не увидел, как это произошло. Ни всплеска, ни воронки, ни тени в воде — ничего, за что могла бы зацепиться память или следствие. Только что в воде стоял брат — и вот вода пустая, ровная, тяжёлая, и от того места, где был Митя, расходится один-единственный круг, широкий и медленный, как от очень большой рыбы, ушедшей на глубину.

Кричать Артём начал, уже когда бежал.

* * *

Их было трое, и они приехали быстро — быстрее водолазов из района, быстрее районного катера, раньше всех, хотя никто их не вызывал. Серый уазик-«буханка» с надписью «Санэпидемстанция» прошёл деревню насквозь, не спрашивая дороги, и встал у сосен так точно, будто ездил сюда всю жизнь.

Старшему было за пятьдесят: сухой, в штатском, с лицом человека, который никогда никуда не опаздывал и не видел в этом ничего хорошего. Второй, помоложе, нёс железный чемодан. Когда чемодан открыли, оттуда пошёл звук — Артём стоял далеко, в мокрой майке, под чьей-то чужой курткой, но звук расслышал и запомнил: сухое пощёлкивание, редкое, с расстановкой, как у счётчика Гейгера, считающего тяжёлые одиночные капли. Только считал этот счётчик не радиацию. Стрелку на шкале Артём тоже разглядел: она ушла за красный сектор до упора и больше не шевелилась.

Третьей была женщина. Из всех троих только она подошла к самой воде. Сняла туфли, зашла по щиколотку и долго

стояла, закрыв глаза, наклонив голову набок — так слушают через стену. Было так тихо, что Артём с двадцати метров слышал её дыхание. Потом она вышла на песок, не вытирая ног, подошла к старшему и заговорила. Артём разобрал не всё, но разобранное легло на дно памяти дословно — как ложатся на дно самые тяжёлые вещи:

— ...не тонул. Его приняли. Внизу свадьба, и его там... — она запнулась, подыскивая слово, и нашла самое простое: — усыновили. Мы считали, она берёт случайных — кто в резонанс попал. Неправда. Она выбирает. Она семью собирает, ей растить надо кого-то, там же никто не...

— При пацане, — негромко сказал старший, и женщина замолчала.

Старший подошёл к Артёму и присел на корточки — не так, как взрослые присаживаются к детям, изображая равенство, а тяжело, по-рабочему: так присаживаются к сложному механизму. Некоторое время он молча смотрел. Глаза у него были спокойные — не добрые и не злые, а ровные, как та вода.

— Брата не найдут, — сказал он без предисловий. — Искать будут, положено. Не найдут. Тебе будут говорить: утонул. Со временем сам станешь так говорить, это нормально, так легче. Теперь слушай меня, один раз скажу. Ты его не утопил. Ты бы не успел, даже если бы сидел рядом в воде. Понял меня?

Артём молчал. Ему было двенадцать, полчаса назад кон-

чилась вся его прежняя жизнь, и он смотрел на этого серого человека — единственного из взрослых на берегу, кто говорил с ним как с живым.

— Не понял, — честно сказал Артём.

— Хорошо, — сказал старший так, будто услышал правильный ответ. Поднялся, отряхнул колени и, уже отвернувшись, добавил — не мальчику, а словно бы воде: — Жалеть будешь. Это не лечится; если скажут, что лечится, — не верь. Но запомни: жалей молча. Никогда вслух, никогда при чужих, никогда у воды. Она этим... — он искал слово, как искала до него женщина, и нашёл такое же простое: — кормится.

К вечеру на берегу работали водолазы, стоял катер, ходили люди в форме — всё как положено. Мать увели соседки ещё засветло; отец до темноты ходил с багром по мелководью, и его никто не решался остановить. Серая «буханка» исчезла, будто её и не бывало. В деревне о ней не вспомнил никто, кроме Артёма. Участковый, снимавший на завтра показания — при матери, по всей форме, — дважды пропустил слова про санэпидемстанцию мимо ушей, а на третий раз посмотрел на мальчика долгим пустым взглядом и мягко сказал: от горя чего только не привидится.

Тело Дмитрия Савельева, восьми лет, найдено не было.

* * *

[лист подшит к делу; машинопись, второй экземпляр, красная копия]

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

экз. №2

АКТ

о плановом поступлении по Изделию-74 («Погост»)

12 августа с. г. Изделием-74 (могильник; остаток недожитого, затопление 1958 г.; режим — наблюдение, регламент сезонный) произведён приём единицы: САВЕЛЬЕВ Д. А., 8 лет. Приём штатный, по профилю резонанса. Вмешательство признано нецелесообразным: окно изъятия — 0,5 сек (расчётно), группа находилась в 40 мин. хода.

Легенда: утопление. Закреплена по линии Четвёртой службы.

ОСОБОЕ: при приёме присутствовал САВЕЛЬЕВ А. А., 12 лет, брат. Зафиксирован парный резонанс редкого профиля (см. заключение читчика, приложение 3). Изъятие второй единицы возможно, но отложено.

Виза (нрзб): «Не изымать. Растить. Пригодится.»

Виза (вторая, ниже, другим почерком и другими чернилами): «7 сл. — в курсе. Ведём обоих.»

** * **

АКТ ПЕРВЫЙ КЛЮЧЕВОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Юбилей

Пятнадцать лет спустя Артём Савельев знал о горе главное: у него нет срока годности. Оно не проходит — оно оседает, как ил, и лежит на дне, пока кто-нибудь не взмутит воду.

В понедельник воду взмутил Геннадий Павлович Ключев, пенсионер, проживающий по улице Гидростроителей, дом четыре, квартира одиннадцать.

— Я вам говорю как есть, — сказал Ключев и положил на стол участкового пузатую папку с тесёмками. — Меня поздравили с юбилеем совместной жизни. Пятьдесят лет. Золотая свадьба.

— Поздравляю, — осторожно сказал Артём.

— Я вдовец, — сказал Ключев. — Сорок два года как. Уехала Валя в область на курсы и не доехала. Автобус, гололёд. Я после неё не женился. А в субботу приходят из совета

ветеранов — с цветами, с грамотой от комбината, с конвертом. «Геннадий Палыч, Валентина Сергеевна, полвека вместе, пример для молодёжи». И Валя моя рядом стоит. В прихожей. В халате.

За окном опорного пункта проехала поливалка. Посёлок Ключевой жил своей обычной жизнью: две улицы, комбинат, водонапорная башня, магазин «Заря», который сорок лет назад переименовали в «Продукты», но никто этого не заметил.

— Стоит, — повторил Ключев. — Живая. Постаревшая, как положено. Тапки её. Халат её, я его помню, она его в семьдесят девятом купить хотела и не успела. А он ношенный, понимаете? Он *доношенный* до сегодняшнего дня.

Артём аккуратно придвинул к себе папку. Правильных реакций на такое у участкового три: направить к врачу, позвонить родственникам, проверить, не пахнет ли от заявителя. От Ключева пахло валидолом и старой квартирой. Глаза у него были ясные и очень усталые — глаза человека, который неделю подряд проверял себя сам и все проверки прошёл.

— Геннадий Павлович, — сказал Артём. — А в квартире сейчас кто?

— Она, — сказал Ключев. — Борщ варит. Меня Геной зовёт. Всё помнит: и курсы, и автобус — только у неё автобус доехал. Понимаете? У неё всё это было — просто по-другому кончилось. — Он помолчал и добавил тихо, самое главное: — И я, товарищ лейтенант, вот чего боюсь. Я ведь помнить

начинаю. Ихнее. Как встречал её тогда с автобуса. Живую. У меня этого не было — а я помню. Оно как вода в сапог: сверху не льётся, а ноги уже мокрые.

В папке лежали документы. Свидетельство о браке — подлинное, семьдесят шестого года, Артём такие бланки видел. Поздравительная грамота комбината, подписанная директором. Фотографии: Ключев и Валентина на фоне водонапорной башни, годы восьмидесятые; Ключев и Валентина с внуками, годы уже недавние. Бумага старая, уголки заломлены, на обороте одной — карандашом детским почерком: «деду и бабе». Внуков у вдовца Ключева не было и быть не могло.

И справка. Обычная справка о составе семьи, выданная три дня назад. Артём прочитал её дважды, и во второй раз ему стало холодно — не от содержания, а от печати. Круглая печать, чёткая, свежая: «Жилищно-коммунальная контора №2 пос. Ключевой».

ЖКК №2 в посёлке не было никогда. Была одна, первая. Артём это знал точно, потому что три года подряд писал на неё рапорты.

— Папку я оставляю, — сказал Ключев, поднимаясь. — А вы уж разберитесь, кто мне жену вернул. — Он был уже в дверях, когда обернулся, и вот тут его впервые повело, голос дал трещину: — И это. Товарищ лейтенант. Вы когда разберётесь... вы её не забирайте сразу. Пусть борщ доварит. Я сорок два года без её борща.

Дверь закрылась. Артём долго сидел, глядя на папку с чу-

жой — ничьей — жизнью, и слушал, как в сапог набирается вода.

* * *

К среде заявлений стало три.

Учительница музыки Ирма Яновна обнаружила у себя диплом консерватории, которую бросила на втором курсе, — и стала, по показаниям соседей, играть по вечерам так, что на лестничной клетке собирались люди и стояли молча, как в церкви. Сама Ирма Яновна на приём не пришла; заявление подала её сестра, с формулировкой, от которой у Артёма дёрнулся глаз: «прошу проверить сестру на подлинность».

Механик Струков предъявил военный билет с отметкой о службе, которой не проходил, а ещё в прошлую пятницу, выпив, плакал в «Продуктах» и просил прощения у людей, которых никто в посёлке не знал.

А в четверг пришла четвёртая — Зинаида Марковна из восьмого дома — и сказала, что у неё в серванте появился сервиз.

— Мадонна, — сказала она. — Гэдээровский. Мы с покойным мужем на него всю жизнь копили и не купили — то машина, то дача, то перестройка. А теперь стоит. Двенадцать персон, ни одной трещинки. — Она посмотрела на Артёма и спросила почти шёпотом: — Сынок, а забирать будут? Ты только скажи честно. Я хоть насмотрюсь.

Вот тогда — на слове «насмотрюсь» — Артёму стало по-настоящему страшно. Потому что схема сложилась. У всех

четверых сбылось несбывшееся. У всех четверых были документы — подлинные, состаренные, вросшие в жизнь, выданные организациями, которых нет. И все четверо — он видел это по глазам — уже наполовину *согласились*.

Он сел и написал рапорт в район: подозрение на организованную группу, изготовление поддельных документов, возможно — мошенничество в отношении пенсионеров. Перечитал. Рапорт выглядел как бред сивой кобылы, изложенный канцелярским слогом. Про халат, доношенный до сегодняшнего дня, он писать не стал. Про борщ тоже.

Ответ пришёл в пятницу, и пришёл странно. Не по почте и не звонком из района — а лично, в одиннадцать утра, когда к опорному пункту подъехал серый уазик-«буханка» с надписью на борту: «Санитарно-эпидемиологическая служба».

Артём стоял у окна с кружкой остывшего чая и смотрел, как из машины выходят трое.

Кружку он поставил на подоконник очень аккуратно, потому что рука вдруг перестала быть надёжной. Пятнадцать лет — большой срок. Он не вспоминал ту «буханку» годами; он честно, старательно, по-взрослому забыл её, как велели врачи, как выходило легче. Но, оказывается, всё это время память держала её наготове — целиком, до заклёпки, до пыльного следа на борту, — и теперь просто достала и предъявила, как достают из сейфа вещдок.

Другая машина. Номера другие, и надпись другая — та была короче. Другие люди: старшим шёл мужчина лет соро-

ка, плотный, в штатском, с портфелем; за ним женщина в форменной куртке не по погоде; третий, совсем молодой, нёс железный чемодан.

Чемодан был тот же. Не такой же — тот же: Артём узнал его раньше, чем понял, что узнаёт, — по вмятине на углу.

Они вошли без стука, как входят к себе. Старший показал удостоверение — настоящее, с гербом, с фотографией, с должностью «ведущий специалист территориального управления Госсанэпиднадзора», и фамилия была простая, серая, немедленно забываемая. Артём смотрел в это удостоверение и думал только одно: печать чёткая, свежая — а Госсанэпиднадзор упразднили лет двадцать назад, он это помнил ещё с учёбы. Свежая печать несуществующей конторы. Он теперь умел это видеть. Неделя была хорошей школой.

— Лейтенант Савельев? — сказал старший. — По вашему рапорту. У вас тут, коллеги считают, вспышка.

— Вспышка чего? — спросил Артём.

Старший посмотрел на него внимательно и вроде бы даже с одобрением — как смотрят на механизм, который тикает ровнее ожидаемого.

— Гепатита А, — сказал он ровно. — Водный путь передачи. Посёлок закрывается на карантин, тридцать пять суток, по инструкции. Население оповещено будет сегодня. Ваша задача — содействие: списки контактных, поквартирный обход. Список у нас свой, — он раскрыл портфель, — но сверить хотим с вашим. У вас ведь список есть, лейтенант?

Людей, у которых... — он сделал крошечную паузу, и в эту паузу поместилось всё: и халат, и сервиз, и консерватория, — ...жалобы.

— На гепатит, — сказал Артём.

— На гепатит, — согласился старший.

Дальше всё было почти обыкновенно. Сверили списки — их список был длиннее на шесть фамилий, и против фамилии Ключева стояла пометка, которую Артём прочитал вверх ногами и не понял: «п/р, парн., см. арх.». Женщина в форменной куртке за весь разговор не сказала ни слова — сидела у окна, наклонив голову набок, будто слушала что-то через стену, и один раз, когда мимо опорного пункта прошла Зинаида Марковна с авоськой, закрыла глаза. Молодой в углу открыл железный чемодан, что-то подкрутил и закрыл.

Но за те три секунды, что чемодан стоял открытым, Артём успел услышать.

Сухое мерное пощёлкивание. Частое — гораздо чаще, чем тогда, на берегу. Как будто счётчик, который пятнадцать лет назад считал редкие тяжёлые капли, теперь стоял под дождём.

— Ну что ж, — старший поднялся, собрал бумаги, портфель щёлкнул. — Завтра с девяти начнём обход. Форма одежды гражданская, разговоры по легенде: карантин, анализы, подписи. С заявителями вашими мы поработаем сами, вы — на подхвате. Вопросы?

Вопросов у Артёма было примерно триста. Он задал один

— не тот, что собирался, тот, что сам выскочил, как выскакивает из-под ила пузырь:

— Она борщ доварила?

В комнате стало очень тихо. Женщина у окна открыла глаза и в первый раз посмотрела на Артёма прямо — долгим, странным, узнающим взглядом, каким смотрят на дальнего родственника: похож, похож, и подбородок ихний.

— Не понял, — сказал старший.

— Гражданка Ключева, — сказал Артём, уже не останавливаясь. — Валентина Сергеевна. Умершая в восемьдесят четвёртом году. Которая с субботы варит мужу борщ по адресу Гидростроителей, четыре, одиннадцать. Вы же за ней приехали. Я хочу знать, что с ней будет. И что будет с ним.

Старший стоял, держа портфель, и смотрел на Артёма так, как смотрят на давно решённую задачу, в которой вдруг обнаружился лишний знак.

— Завтра в девять, лейтенант, — сказал он наконец. — Форма гражданская.

Они вышли. «Буханка» развернулась через сплошную и пошла в сторону комбината — не в сторону района, откуда должна была приехать любая настоящая санэпидемстанция, а в сторону комбината, за первый шлагбаум, куда участковому Савельеву хода не было.

Артём стоял у окна. Чай остыл окончательно.

«Вы её не забирайте сразу. Пусть борщ доварит».

Он взял со стола папку Ключева, развязал тесёмки и стал

перечитывать всё подряд — уже не как участковый. Как человек, который пятнадцать лет назад стоял на берегу и слышал из-под воды, что там хорошо, — и которому сегодня впервые пришло в голову спросить не «что это было», а «почём это было». Какая у этого цена и кто её платит.

На фотографии Ключев и не-Валентина стояли у водонапорной башни и улыбались. Фотограф поймал их врасплох, посреди жеста: Ключев что-то говорил, Валентина смеялась, поднося руку к волосам.

Артём смотрел на снимок долго. Потом достал лупу.

День на снимке был солнечный. Ключев отбрасывал тень. Башня отбрасывала тень — длинную, через полкадра. Авоська в руке Ключева — и та отбрасывала тень.

Валентина — нет.

* * *

[подшито к делу оперативного учёта; бланк без реквизитов]

СПРАВКА-СВОДКА (выдержка)

...очаг по Изделию-206 в н. п. Ключевой подтверждён. Расчётное число носителей — 11—14 (список уточняется). Динамика нетипичная: скорость укоренения превышает модельную в 4—6 раз, распределение носителей неслучайное — очаг ведёт себя как посеянный (см. особое мнение аналитика, прилагается).

Фон по кусту — 3,1 еж, рост. Прогноз при неблагоприятном развитии: набухание в пределах 30

—45 сут.

ОСОБОЕ: в контакт с материалом очага вступил уч. уполномоченный САВЕЛЬЕВ А. А. (объект наблюдения «ПАРНЫЙ», дело ведётся с 2011 г.). Инициативно установил признаки опережающей документации, легенду принял условно. Оценка готовности — см. лист согласования.

Резолюция (нрзб): «Пора. Оформляйте вербовку. И передайте Седьмой, что мы тоже умеем читать их пометки.»

* * *

ГЛАВА ВТОРАЯ

Карантин

Оповещение сработало ночью, и сработало красиво — Артём оценил это уже утром, задним числом, как оценивают чужую чистую работу.

Никаких машин с громкоговорителями, никакой паники. Просто в половине седьмого утра по посёлку пошли слухи — готовые, удобные, с подробностями. У магазина говорили, что в райцентре трое желтушных и все пили из ключевской скважины. В очереди на автобус — что карантин месяц, но комбинат обещал доплату «за неудобства». Бабки у четвёртого дома знали больше всех: и какая вода заражена (холодная; горячую кипятят, её можно), и кого закроют первым, и что «санитары из области — строгие, но справедливые».

Слухи разошлись по посёлку за два часа, как краска по мокрой бумаге. К девяти утра Ключевой уже сам верил в свой гепатит — добровольно, охотно, с деталями, которых никто не объявлял.

«Вот так это делается, — подумал Артём, стоя у окна опорного пункта. — Не тайна против правды. Правда против правды. Их правда просто удобнее сидит».

В девять ноль-ноль у крыльца встала серая «буханка».

Инструктаж занял четыре минуты и запомнился Артёму на всю жизнь.

— Работаете со мной, — сказала женщина. Вблизи ей было лет тридцать пять; из-под форменной куртки не по погоде торчал воротник домашнего свитера, и это почему-то делало её страшнее, а не проще. — Зовите Верой. Правила на обходе три, слушайте, повторять не буду. Первое: в квартирах ничему не удивляться. Совсем ничему. Удивление — это тоже интерес, а интерес их кормит. Второе: если человек начинает говорить «а вот если бы» — про любое своё несбывшееся, про какое угодно, — тему не поддерживать. Перебить, увести, спросить про анализы, про кота, про что хотите. Третье, — она посмотрела на Артёма внимательно, как смотрят на ученика, от которого зависит оценка всему классу, — слово «жаль» не произносится. Ни в какой форме. Не «жалко», не «сожалею», не «как жаль». Внутри — пожалуйста, вслух — никогда.

— А если человек плачет? — спросил Артём.

— Плачет — пусть плачет, — сказала Вера. — Слезы без слов их не кормят. Их кормит формула. «Жаль» — это подпись под документом, лейтенант. Не подписывайте.

Старший — он представился Николаевым, и Артём сразу понял, что запоминать эту фамилию бессмысленно, — на обход не пошёл. Забрал у Артёма ключи от опорного пункта, разложил на его столе свои бумаги и остался, как остаёт-

ся хирург, которому пока не время мыть руки. Молодой технар — этого звали Гошей, и он был единственным из троих, кто выглядел живым человеком, — ушёл с лестницей и ящиком «пожарных датчиков» ставить их по подъездам.

Датчики были серые, круглые, и Артём уже знал, как они щёлкают изнутри.

* * *

В одиннадцатой квартире четвёртого дома по Гидростроителей их не ждали — их ждали борщом.

Артём готовился к этой двери всю дорогу и всё равно оказался не готов. Валентина Сергеевна Ключева открыла сразу, будто стояла в прихожей, вытерла руки о фартук и сказала:

— Проходите, санитары. Гена, тут по анализам пришли!

Она была обыкновенная. Вот к этому Артём не был готов — к обыкновенности. Семьдесят с чем-то лет, седая, полная, очки на цепочке, на левом виске — родинка. От неё пахло борщом и «Красной Москвой», она суежилась, доставала чашки, извинялась за беспорядок, которого не было, — и ни в одном её движении не было ничего потустороннего — кроме того, что сорок два года назад её похоронили заочно, пустым гробом с песком: автобус на гололёде сорвался с моста в реку, и тело так и не подняли.

Вера работала. Со стороны это выглядело как санитарная беседа: прививки, вода, подписи вот здесь и здесь. Изнутри — Артём видел, потому что смотрел, — это было другое. Вера сидела к Валентине вполоборота, наклонив голову, и

слушала не слова. Один раз, когда Валентина отвернулась к плите, Вера быстро, по-врачебному коснулась её локтя двумя пальцами — и убрала руку, и с этого момента перестала пить чай.

А Клюев сидел напротив, смотрел на жену и светился. Другого слова не было. Он ловил её взгляд, он подавал ей полотенце раньше, чем она тянулась, он сорок два года не подавал никому полотенце — и теперь торопился, как торопятся на вокзале, когда посадку уже объявили.

— Геннадий Павлович, — сказал Артём тихо, пока Валентина гремела посудой. — Вы же понимаете.

— Понимаю, — сказал Клюев спокойно. — Я, лейтенант, всё понимаю, я не сумасшедший. Я даже больше вашего понимаю. — Он посмотрел Артёму прямо в глаза, и в его взгляде не было ни безумия, ни мольбы — только арифметика. — Мне семьдесят четыре. Мне осталось — ну пять лет, ну семь. Я эти годы могу прожить как жил, с телевизором. А могу — с ней. Что бы она ни была. Вот и вся задача, и я её решил. А вы уж решайте свою.

Валентина поставила перед Артёмом тарелку борща.

— Ешьте, — сказала она. — Молодой, худой. Небось всухомятку всё.

Борщ был горячий, настоящий, со сметаной и с той самой поджаркой, от которой темнеет бульон. Артём ел, и борщ был вкусный, и где-то на середине тарелки он понял вдруг — не головой, желудком, — что именно ему сейчас скорми-

ли: у него самого «всухомятку» было пятнадцать лет, с того августа, потому что мать после Мити так и не вернулась к плите по-настоящему. Он доел. Он поблагодарил. Он взял у Валентины Сергеевны подпись под согласием на анализы — подпись была ровная, старательная, с наклоном, — и уже в дверях услышал, как Вера, прощаясь, сказала Ключеву одну фразу, тихо и без выражения:

— До вторника ничего не решится. Доварит.

На лестнице Артём спросил:

— Это вы для него сказали или для меня?

— Это я для неё сказала, — ответила Вера.

* * *

К обеду он научился видеть.

В квартире учительницы музыки не было ничего страшного — было прекрасное, и это оказалось хуже. Ирма Яновна играла. Дверь им открыла сестра — серая, замотанная, с глазами человека, который неделю живёт рядом с чудом и не спит, — а из комнаты шёл Шопен, и на лестничной клетке этажом выше сидели на ступеньках двое работяг с комбината, в спецовках, и слушали, положив каски на колени.

Сестра постучала в дверь комнаты. Музыка оборвалась на середине такта — не доиграв фразу, и обрыв повис в подъезде, как вдох без выдоха; один из работяг наверху тихо, с чувством выругался.

Ирма Яновна вышла к ним сама. Села, сложила руки на коленях, как отличница-переросток, ответила на все вопро-

сы. Да, чувствует себя хорошо. Нет, желтизны нет. Диплом? Вот диплом. Она подвинула его через стол спокойно, даже равнодушно — а вот пальцы у неё лежали на коленях неспокойно: они всё время доигрывали что-то, тихо, по ткани юбки.

— Двадцать девять лет в школе, — сказала она, глядя не на Веру, а на свои пальцы. — «Во поле берёза». Дети хорошие, я не жалуюсь, вы не подумайте. Только знаете что? Я всё это время слышала, как надо. Как *могло* звучать. Вот здесь, — она коснулась виска, — слышала, а руки не могли. А теперь могут. Вы пришли забрать диплом?

— Мы пришли взять анализы, — ровно сказала Вера.

— Потому что если заберёте, — продолжала Ирма Яновна тем же тоном отличницы, — то вы заберите тогда и это. — Она подняла руки и подержала их в воздухе, кистями вверх, как держат хирурги. — Вместе с руками заберите. По локоть. Потому что обратно, как было, я уже не согласна.

На лестнице Артём молчал два пролёта, потом всё-таки сказал:

— Она же никому ничего плохого...

— Пойдёмте, лейтенант, — сказала Вера. — Струков ждёт.

Но Артём успел увидеть то, что она не успела спрятать: Вера на секунду прикрыла глаза — так же, как тогда, у окна, при Зинаиде Марковне. И он впервые подумал о том, о чём потом будет думать годами: каково это — работать глушите-

лем чужого счастья и слышать при этом всё. Каждую ноту.

* * *

Струкова дома не было.

Дверь была не заперта, на плите стоял холодный чайник, на столе — военный билет, раскрытый на той самой странице, и записка. Вера прочитала записку первой, и Артём увидел, как у неё меняется спина.

«Ушёл к своим, — было написано крупным механиковым почерком. — Они там без меня. Простите если что. Долг — платежом».

— Гоша, — сказала Вера в рацию, и голос у неё был уже другой, рабочий, металлический. — Носитель-три ушёл в сторону мокрого. Пеленг давай. — Пауза, треск. — Да. Да, к воде.

И уже на бегу, через плечо, Артёму — первый раз за день не по правилам, живым голосом:

— Водохранилище в какой стороне?!

Артём не ответил. Артём уже бежал впереди.

* * *

[рабочие записи, изъятые из блокнота; хранение — папка наблюдения «ПАРНЫЙ»]

сб., вечер.

Струкова сняли с дамбы. Живой. Шёл «отдавать долг» — накопил, по его словам, «за службу»: они ему там, выходит, три года стаж, а он им — ничего. Логика носителя типовая, хрестоматийная, хоть в методичку. Взяли мягко, В. отработала

чисто.

Нетиповое другое. Лейтенант.

1. Бежал к воде впереди группы, маршрут выбрал сам — тропой, которой нет на схеме. На вопрос «откуда знал дорогу» ответил: «все тут купались». Проверила по архиву: это старая дорога на Вязовку. В 58-м её обрезало водой, уцелевший кусок со схем сняли тогда же. «Все тут купались» — неправда: этим куском не пользуются, он ведёт в воду и никуда больше. По этой дороге ходили домой. До затопления.

2. На дамбе, когда брали Струкова, стоял спиной к воде. Все всегда стоят лицом. Спиной к ней стоят только те, кого она уже звала и кто отказался.

3. За весь день ни разу не сказал «жаль». Я ему правило объяснила один раз — но дело не в дисциплине. Он это правило знал раньше меня. Он по нему живёт лет пятнадцать.

Вывод для листа согласования: готов. Давно готов, и это само по себе вопрос — кто его готовил и почему нам его отдают только теперь.

И последнее, не для листа. Когда бежали, я его слышала. Фон у него двойной, я такое читала только в учебке, на плёнках. Он звучит как два человека, из которых один — очень далеко. И этот второй — ждёт.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Выписка

Во вторник Николаев впервые сказал Артёму «мы».

— В десять работаем по Гидростроителей, четыре, — сказал он по телефону. — Форма гражданская, лицо казённое. Ваша задача — муж: сидите с ним, говорите с ним, не давайте ему вставать. Выписку сделают Вера с Гошей.

— Какую выписку? — спросил Артём.

— В десять, — сказал Николаев. — Мы не опаздываем.

И положил трубку.

Мы. Не «группа выезжает», не «вы подъедете к сотрудникам» — мы. Одно короткое слово, и Артём стоял с гудящей трубкой в руке, понимая, что его только что посчитали. Без рапорта, без присяги, без единой бумаги — простым местоположением. В этой конторе, он уже начал догадываться, именно так и оформляли всё самое важное.

А «выписка» догнала его позже, на лестнице. Слово было из поликлиники, из бухгалтерии, из мира справок — и именно поэтому от него тянуло холодом. Здешний язык он тоже начинал понимать: чем страшнее дело, тем скучнее слово. Если бы эти люди умели воскрешать, это называлось бы «восстановление учёта».

* * *

Валентина Сергеевна открыла им дверь и посмотрела на сумку Николаева — брезентовую, тяжёлую, с деревянными ручками, — как смотрят на чемодан врача.

— Проходите, — сказала она спокойно. — Гена в комнате. Я ему валокордин дала, вы уж с ним помягче.

И пока они разувались в тесной прихожей — Николаев аккуратно, Вера быстро, Артём неловко, — Валентина Сергеевна стояла у вешалки, сложив руки под грудью, и вдруг сказала простым домашним голосом, каким сообщают, что хлеба нет:

— Я ведь знаю, зачем вы. Вы не думайте, что я тут дурочка в фартуке. Я с субботы знаю. — Она коснулась пальцами кофты на груди, слева. — У меня же тут песок. Мне Гена не говорил, а я помню. Гроб помню, как несли. Разве живая такое помнит?

Никто не ответил. Вера смотрела в пол. И Валентина Сергеевна кивнула, как будто получила ответ, и пошла на кухню — доваривать.

* * *

Процедура называлась «сбор опережающей документации», и первые полчаса она выглядела как обыск, который проводят люди, стыдящиеся своей профессии.

Изымалось всё, что держало. Свидетельство о браке семьдесят шестого года. Грамота комбината. Фотографии — все до одной, из альбома, из серванта, из бумажника Клюева, ко-

торый тот отдал сам, двумя руками. Справка ЖКК №2. Квитанции — оказалось, за сорок два несуществующих года накопились и квитанции: за свет, за воду, починка часов, подписка на «Работницу». Каждую бумагу Николаев заносил в опись, проговаривая вслух номер и наименование, и от этого бухгалтерского бормотания в квартире становилось всё тише и тише, как будто из неё по листу выносили воздух.

Клюев сидел в комнате напротив Артёма, смотрел на свои руки и держался. Он держался почти час. Сломался он не на фотографиях и не на свидетельстве — на мелочи: Вера вынесла из кухни и положила в опись очки. Обыкновенные очки на цепочке, плюс три с половиной.

— Это же... — сказал Клюев и встал. — Это зачем? Ей же читать. Она без них рецепт не...

— Геннадий Павлович, — сказал Артём и взял его за плечо.

— Я понял, — сказал Клюев, не садясь. — Я всё понял, лейтенант. Тогда меня тоже в опись. Меня первым. Я — документ. Я сорок два года её помнил — я и есть главная бумага, без меня бы ничего не было. Вот и изымайте по порядку. Одного только ж...

— Геннадий Павлович, — быстро и громко перебил Артём, — садьте.

Он сам не понял, откуда взялась эта скорость, — понял только, что слово, которое сейчас чуть не прозвучало, было бы здесь, в этой квартире, сегодня, как спичка на бензоко-

лонке. Клюев осёкся. Посмотрел на Артёма. И сел.

Из кухни очень спокойно, очень ровно вышла Вера.

— Николаев, — сказала она. — Десять минут. Борщ готов, стол накрыт. Пусть поедят.

— Не по регламенту, — сказал Николаев, не поднимая головы от описи.

— Протокол этого не заметит, — сказала Вера. — А я прослежу, чтобы без формул.

Николаев дописал строку. Подумал. Потом посмотрел на часы — не как смотрят на время, а как засекают его:

— Десять минут.

* * *

Они ели вдвоём на кухне, муж и жена, а трое чужих стояли в коридоре и не смотрели — смотреть было нельзя, интерес кормит, — но слушать было можно, и Артём слушал.

Там не говорили ничего важного. Там говорили: «посоли», «хлеб бери», «опять недосол у меня», «да что ты, в самый раз». Там один раз засмеялись оба, тихо, о чём-то своём, чего в описи не было и быть не могло. Там звякала ложка о тарелку — ровно, по-домашнему, сорок два года подряд, если считать по звуку.

Артём стоял в чужом коридоре, смотрел на носки своих ботинок и думал, что вот сейчас, за этой стенкой, происходит то, чего нет ни в одной классификации: изделие номер такой-то, класс «тень», режим «изъятие», кормит мужа обедом. И что если после этого он, Артём, сможет спокойно

спать, то грош ему цена. А если не сможет — то его, кажется, именно поэтому и взяли.

На одиннадцатой минуте Николаев вошёл в кухню.

* * *

Акт он читал вслух, стоя, держа лист двумя руками, и голос у него был не торжественный и не виноватый — рабочий. Так читают показания счётчиков.

— «...числящаяся по опережающей документации КЛЮЕВА Валентина Сергеевна, одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года рождения, дальнейшему событию не подлежит. Опережающую документацию изъять, подпитку прекратить, несбывшееся вернуть в фонд изделия с момента оглашения. Записи актов гражданского состояния привести в соответствие. Опись прилагается на четырёх листах. Подпитывающие факторы — по отдельному перечню...»

Валентина Сергеевна слушала стоя, вытирая руки полотенцем — долго, тщательно, палец за пальцем, как вытирают руки после большой стирки. Потом сняла фартук, сложила его вчетверо и повесила на спинку стула. Разгладила ладонью.

— Гена, — сказала она.

Клюев смотрел на неё снизу, с табуретки, и держал её очки в кулаке — он вытащил их из описи, думая, что никто не видит. Видели все. Отнимать никто не стал.

— Я тогда доехала, слышишь? — сказала Валентина Сергеевна. — Ты это брось — что не доехала. Просто долго еха-

ла. Сорок два года ехала, а всё же... — она посмотрела на кастрюлю, на окно, на мужа, и последнее слово сказала уже не совсем здесь, уже с той стороны своей длинной дороги: — ...доехала же.

Николаев дочитал последнюю строку.

Никакого ветра не было, и света никакого не было, и звука. Просто Артём моргнул — а у стула остался только фар-тук, аккуратно сложенный на спинке, да полотенце на крючке доживало её последнее движение: качнулось и встало.

Ложка её лежала на столе, на чистой салфетке. Ложку в опись не внесли — забыли. Или не забыли.

* * *

Борщ по перечню подпитывающих факторов подлежал уничтожению. Формулировка была именно такая, и Артём успел испугаться, что кастрюлю понесут выливать при Клюеве, — но Вера молча взяла её, вышла во двор, к мусорным бакам, и вернулась с пустой. Сделала это сама, быстро, некрасиво — чтобы никто из них не успел подумать, что это похороны.

Клюев сидел за столом, на своём месте, сорок два года как своим. Скатерть перед ним была свежая, воскресная — Валентина постелила с утра. И на скатерти, там, где стояла её тарелка, темнело маленькое пятно: капнула, когда наливала.

Пятно в опись не попало. Пятна в описи не ходят.

Клюев накрыл его ладонью и так остался.

— Геннадий Павлович, — сказал Николаев от двери, уже

с сумкой. — По процедуре положено предложить вам зашумление. Забудете не её — семьдесят шестой год забудете по-настоящему, без двойного дна. Будете вдовец как вдовец. Многие соглашаются.

— Идите отсюда, — сказал Ключев, не оборачиваясь и не повышая голоса. — Я её сорок два года один помнил. Помню и дальше. Это моё. Не изделие ваше — моё.

Николаев кивнул так, будто услышал подпись под протоколом, и вышел.

Артём задержался в дверях последним. Он хотел сказать что-то — и по новым правилам сказать было нечего: всё, что говорят люди в таких случаях, начинается со слова, которое здесь нельзя. Он уже шагнул за порог, когда Ключев окликнул:

— Лейтенант. — Он так и сидел, ладонью на скатерти. — Ты вот что. Ты когда своего дождёшься... — Артём окаменел, а Ключев договорил, не оборачиваясь, спокойно: — ...ты борщ-то ешь, не сомневайся. Отравы в нём нет. В нём только это и есть — что доехала.

Откуда он знал — про «своего», — Артём спросить не смог. Дверь закрылась.

* * *

Вечером, в опорном пункте, разбирая папку Ключева для передачи, Артём нашёл то, что искал не он.

Между квитанций лежала анкета. Серая бумага, плохая печать: «Историческая память поселения. Анкета жителя.

Общество изучения повседневности „Наследие“». Май этого года. Артём вспомнил: ходила девушка, студентка вроде, вежливая, по всем домам ходила, старики её чаем поили — событие же, живой человек стариков расспрашивает.

Вопросы были обычные, музейные: год рождения, кем работали, что помните о посёлке. Артём вёл пальцем по списку и остановился на четырнадцатом.

«14. О чём из несбывшегося Вы жалеете больше всего? Опишите подробно. Не стесняйтесь — Ваш ответ очень важен».

Ответ Ключева занимал полторы страницы, мелко, с двух сторон листа.

Артём принёс анкету Николаеву. Тот прочитал вопрос четырнадцать, и Артём впервые увидел, как у этого человека что-то происходит с лицом — недолго, полсекунды, как тень рыбы под водой.

— Когда она ходила? — спросил Николаев.

— В мае. По всем домам.

— По всем, — повторил Николаев. Достал телефон, набрал, дождался. — Дежурный? Первой службе, срочно. Очаг в Ключевом — подтверждаю сев. Сеятель работал в мае, под опросом, бумажная форма, охват — весь населённый пункт. — Пауза. — Да. Значит, носителей у нас не одиннадцать. Носителей у нас — все, кто ответил на четырнадцатый вопрос. Считайте.

Он убрал телефон и посмотрел в окно, туда, где за кры-

шами, за водонапорной башней, лежала в берегах тяжёлая ровная вода.

— А ответили все, — сказал он уже никому. — Старику дай только рассказать, о чём он жалеет.

* * *

[второй экземпляр, красная копирка; к акту №12 —206/26-В]

ОПИСЬ ПОДПИТЫВАЮЩИХ ФАКТОРОВ
(выдержка)

...

14. Борщ, 3,5 л — уничтожен (акт прилагается).

15. Фартук х/б — изъят.

16. Полотенце кухонное — изъято.

17. Очки +3,5 на цепочке — утрачены при изъятии (см. рапорт).

...

Пометка на полях, от руки: «П. 17 не утрачен. И на столе осталась её ложка — в опись не вносила. Оставлено умышленно, санкционировала. Носитель со сроком дожития до 10 лет, подпитка периферийная, риска нет. Если Управление не может оставить старику очки и ложку, то я не понимаю, что мы охраняем. В.»

Пометка ниже, другим почерком: «В. — объявить устное замечание. В остальном согласен. Н.»

* * *

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Теплица

В среду в Ключевой пришла вторая машина — фургон областной санэпидстанции, длинный, с антенной на крыше, — и Артём отметил, что врать они стали размашистее: на фургоне была эмблема, телефон доверия и надпись «Мы работаем для вас». Телефон Артём из любопытства набрал вечером. Ответил вежливый женский голос, назвал его по званию и попросил не занимать линию.

Из фургона выгрузились шестеро. С Артёмом никто из них не поздоровался.

— Первая служба, счетоводы, — сказал Гоша с непонятной интонацией, то ли уважительной, то ли жалеющей. — Приехали считать твоих стариков. Пойдём, лейтенант, у нас с тобой шестнадцать подъездов.

Так Артём на два дня стал подмастерьем: держал лестницу, подавал отвёртку, расписывался в журналах установки «пожарных датчиков». Работа была монотонная, Гоша — разговорчивый, и к восьмому подъезду Артём понял, что это и есть его настоящая учебка: Николаев объяснял бы ему мир неделю и всё равно соврал бы половину, а Гоша объяснял между делом, скучая, и врать ему было лень.

— Вот смотри, — Гоша щёлкнул ногтем по серому кругляшу, и тот отозвался знакомым сухим пощёлкиванием. — Фон. Меряется в ежах. Почему в ежах — не спрашивай, там фамилия была, её засекретили, остались ежи. Норма для жилого дома — ноль два, ноль три. В городе после плохих новостей бывает ноль пять, ничего, живут. Вот тут, — он кивнул на дисплей, — сейчас три и четыре. В пятницу было три и одна.

— А сколько плохо?

— Плохо — четыре. После четырёх фон сам себя греет: людям начинает сниться одно и то же, люди начинают об одном и том же... — Гоша покосился на Артёма и слово опустил, — ...ну, ты понял, об одном и том же думать вслух. А это ещё плюс к фону. Печка. Теплица. После шести не выдерживает уже сама ткань, и тогда...

Он замолчал, прикручивая кругляш.

— Что тогда?

— Тогда приезжаем не мы, — сказал Гоша. — Тогда приезжает аварийка, а перед ней желательно, чтобы тут уже никого не было. Ты вот что, лейтенант. Ты в семьдесят девятом не жил, а я плёнки видел. В Тагиле, квартал есть один... был. Там тоже сначала всё было хорошо. Там даже потом всё было хорошо, в том и дело. Там до сих пор всё хорошо — окна светятся, бельё сохнет. Сорок пять лет. Только людей там нет. А хозяйство — идёт.

Он сказал это буднично, не пугая, и оттого по спине у Ар-

тёма прошёл холод, какого не было даже на дамбе.

— И у нас так может?

— У вас, — сказал Гоша, — очень старательный посёлок. Смотри сам.

* * *

И Артём стал смотреть. Он ходил по Ключевому всю жизнь и думал, что знает его наизусть, — а теперь шёл теми же дворами, как по чужому городу, и видел.

Во дворе седьмого дома стояла яблоня. Большая, старая, разлапистая — её спилили при нём, лет десять назад, когда корни полезли в фундамент. Теперь она стояла, и под ней лежали первые паданцы, и никто из жильцов не удивлялся: яблоня и яблоня, всегда тут была.

У гаражей мужик по фамилии Свириденко каждое утро прогревал «Яву» — вишнёвую, новенькую, в масле, — которую не купил в восемьдесят пятом, потому что деньги ушли на похороны отца. «Ява» заводилась с полпинка. Свириденко было шестьдесят два, и, сидя на ней, он держал спину, как в двадцать.

На клубе висела афиша: «Художественный фильм. Начало в 19:00». Название Артём прочитал трижды и не запомнил — оно каждый раз стекало с памяти, как вода со стекла. Вечером у клуба собиралась очередь. Очередь стояла тихая, терпеливая, никто не спрашивал, есть ли билеты. Артём доложил про очередь Николаеву отдельно — он уже понимал, что очередь без начала это не фольклор, — и Николаев впер-

вые похвалил его одним словом: «Видите».

А почта. На почте работала Люба — сколько Артём себя помнил, всё та же Люба с короткой сединой. Теперь у Любы была коса. Не парик, не накладка — своя, тяжёлая, до пояса, русая, какую она отрезала в семьдесят восьмом, когда вышла замуж за человека, за которого не надо было выходить. Люба выдала Артёму заказные письма, привычно ворча, и коса лежала через её плечо, как живая, и Артём расписался в получении, ничему не удивившись — вслух.

Посёлок цвёл. Вот что было самое страшное — он именно цвёл: несбывшееся распускалось по нему тихо, доброжелательно, по одному цветку на двор, и люди принимали его с той готовностью, с какой сухая земля принимает дождь. Никто не бежал, не крестился, не звонил в газеты. Старики помолодели глазами. У магазина стало слышно смех.

«Их правда удобнее сидит», — вспомнил Артём собственную мысль недельной давности и поправился: нет. Их правда — по размеру. Она всем по размеру, вот в чём дело. Каждому здесь когда-то чего-то не досталось — и теперь оно доставалось: аккуратно, адресно, по мерке, как будто кто-то очень внимательный прошёл по посёлку с блокнотом и записал за каждым его пустоту.

Кто-то и прошёл. В мае. С анкетой.

* * *

В четверг вечером Николаев разложил на столе опорного пункта двести сорок семь анкет — их изъяли из «музея бо-

своей славы» при клубе, куда девушка-волонтер сдала копии, вежливо, под расписку, всё по правилам.

— Двести сорок семь, — сказал он. — Отвечали не все, кто-то отмахнулся, кто-то болел. Но двести сорок семь ответили. Первая служба говорит: раскрытие пойдёт волнами, по резонансу, от сильных сожалений к слабым. Мы сейчас видим первую волну — самых голодных. Через неделю-две пойдёт вторая. К концу месяца — все.

— И что тогда? — спросил Артём.

— Тогда здесь будет четыре и выше, — сказал Николаев. — Дальше вы знаете, вам Гоша рассказывал. — Он посмотрел на Артёма ровно, и было непонятно, откуда он знает про разговоры на лестницах. — Поэтому вопрос у меня один. Сеятель. Двести сорок семь бумаг — и ни одной её фотографии, ни одной подписи, расписка в музее оформлена на общество, общества нет, печать есть. Печать, кстати, тёплая — до сих пор. Она здесь месяц жила, лейтенант. Где-то же она жила.

— У Костроминых, — сказал Артём. — Комнату снимала, я участковый, я знаю, кто у кого живёт. Только я вам больше скажу.

Николаев ждал.

— Я с ней говорил, — сказал Артём. — В мае. Она пришла сама, представилась, спросила, в каких домах старики, кого как зовут, к кому лучше не стучаться. Нормальный вопрос, все опросчики так делают, я ей набросал списочек...

— он услышал, как это звучит, и договорил твёрдо, не пряча: — Я ей набросал списочек. Сам. Кто одинокий, кто разговорчивый, у кого какое горе. Чтобы ей проще работалось.

В комнате было слышно, как в углу, в сером кругляше, щёлкает фон.

— Не казните, — сказал Николаев неожиданно. — Вы дали ей список — значит, список у неё был не свой. Значит, готовых целей она не имела, работала вслепую. Это первое полезное, что мы о ней знаем. Что второе?

Артём вспоминал. Май, крыльцо, солнце, девушка лет двадцати пяти, куртка, рюкзак, планшетка с бумагами. Лицо он, к своему стыду, помнил плохо — обычное лицо, вежливое. Помнил другое.

— Она под конец спросила меня. Тот же вопрос, я теперь понимаю — тот самый, четырнадцатый. О чём, мол, вы сами больше всего... — Артём аккуратно обошёл слово, — ...ну. Спросила.

— А вы?

— А я не ответил. Я сказал: работы много, гражданка, вопросы тут задаю я. Дежурной шуткой закрылся.

— И она?

— А она... — Артём остановился, потому что вспомнил вдруг очень ясно, физически, как это было: солнце, планшетка, ручка, занесённая над бумагой. — Она улыбнулась и что-то записала. Я ещё пошутил: двойку мне ставите? А она говорит: наоборот. Говорит — редкий случай, у вас выдерж-

ка. Говорит, таких, как вы, у меня отдельный лист.

Николаев очень медленно положил на стол анкету, которую держал в руках.

— Отдельный лист, — повторил он. — Таких, как вы.

— Я тогда не понял, что это значит.

— Это значит, — сказал Николаев, — что она собирала не только тех, кто жалеет вслух. Она отмечала тех, кто умеет молчать. — Он помолчал и впервые на памяти Артёма потёр глаза ладонью — жест был старый, человеческий, из-под всех его форм допуска. — Сожаление, которое высказано, — топливо, лейтенант. А сожаление, которое пятнадцать лет держат в кулаке, — это не топливо. Это капсюль.

Он собрал анкеты в стопку, выровнял края о стол — стук вышел неожиданно громким.

— Идите спать, Савельев. Завтра начинаем гасить первую волну, работы всем. И вот ещё что. — Он сказал это уже в спину, тем же голосом, каким читал акт на кухне Клюевых: — К воде пока не ходите. Совсем.

Артём остановился в дверях.

— Это приказ?

— Это просьба, — сказал Николаев. — Приказы вы пока имеете право не выполнять. Пользуйтесь, недолго осталось.

* * *

Ночью Артёму приснился сон, первый за много лет цветной.

Ему снилось, что он стоит на старой дороге — той, что

обрезана водой, — только дорога не обрывается, а идёт дальше, вниз, под ровную тяжёлую гладь, и фонари вдоль неё горят и под водой тоже, уходя цепочкой в глубину, как взлётная полоса наоборот. Где-то там, внизу, играла музыка. Не страшная. Праздничная.

И по дороге, из глубины вверх, к нему, шёл кто-то маленький и нёс в руках что-то белое.

Артём проснулся до будильника и долго лежал, глядя в потолок и дыша по счёту, как учили в армии. Потом встал, посмотрел в зеркало в ванной и сказал себе вслух, спокойно, по слогам — как Николаев читал акт:

— Молча. Держим молча.

В сером кругляше под потолком опорного пункта — он узнал об этом много позже, из документов, которые ему не полагались, — той ночью фон впервые дал короткий пик до пяти и одной десятой. Продолжительность пика: четыре минуты. Локализация: не посёлок.

Локализация была — точка. Одна квартира.

Его.

* * *

[шифротелеграмма, исходящая, 04:12; копия — в папку наблюдения «ПАРНЫЙ»]

**СРОЧНО ТЧК НОЧНОЙ ПИК 5,1 ЕЖ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 4 МИН ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ТОЧЕЧНАЯ КВАРТИРА ОБЪЕКТА ПАРНЫЙ
ТЧК СПЕКТР ПИКА ШТАММУ 206 НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ТЧК СПЕКТР СООТВЕТСТВУЕТ**

**ИЗДЕЛИЮ 74 ТЧК ПОВТОРЯЮ СЕМЬДЕСЯТ
ЧЕТЫРЕ ТЧК ИЗДЕЛИЕ ДОТЯНУЛОСЬ ДО
ОБЪЕКТА ЧЕРЕЗ ОЧАГ ТЧК ОБЪЕКТ ВИДЕЛ
ВОДУ ТЧК ЖДЁМ УКАЗАНИЙ**

[ответная, входящая, 04:31, без подписи]

**НЕ ГАСИТЬ ТЧК НАБЛЮДАТЬ ТЧК ЕСЛИ 74
НАЧАЛО ЗВАТЬ ВТОРОГО ЗНАЧИТ СРОКИ НЕ У
НАС ОДНИХ ТЧК ВЕРБОВКУ УСКОРИТЬ ТЧК**

[приписка к копии, от руки, поверх машинописи]

*По сеятелю. Костромины и шестеро соседей
опрошены за вечер, по горячему. Внешность не
совпадает ни в одной детали: возраст «лет
двадцать» и «под сорок», глаза «серые» и «карие»,
рост «выше меня» и «мне по плечо». Совпадает одно:
планишетка. И вопрос.*

Фоторобот составлять прекратили.

*Это не доброволец с анкетами. Это чьё-то
изделие, и работает оно по нам. Вопрос, на который
у меня нет ответа: список «отдельного листа» —
тех, кто умеет молчать, — она собирала для своих
хозяев.*

Или для него.

** * **

ГЛАВА ПЯТАЯ

Перевод

Личное дело лежало на столе обложкой к Артёму, и обложка была старая.

Вот что он увидел раньше всего остального — раньше, чем Николаева за столом, раньше, чем бумаги веером, раньше, чем собственную фамилию в приказе. Папка была старая. Выцветший картон, разлохмаченные углы, тесёмки, завязанные и развязанные столько раз, что на сгибах они стали мягкими, как бельевая верёвка. Такими не бывают папки, заведённые на прошлой неделе.

— Садитесь, Савельев, — сказал Николаев. — Разговор у нас короткий, потому что оба всё понимают. Вы видели работу. Работа видела вас. Дальше два пути, оба честные. Первый: вы подписываете согласие на зашумление, мы уходим, через месяц вы твёрдо помните карантин по гепатиту и живёте дальше. Хороший путь, между прочим. Спокойный. Многие соглашаются.

«Многие соглашаются», — повторил про себя Артём. Этими же словами Николаев предлагал забвение Ключеву — стоя в дверях кухни, с сумкой в руке. И Артём ответил раньше, чем додумал мысль, — ответил, как отвечал Ключев, те-

ми же словами, потому что других здесь, видимо, не было:
— Это моё. Не отдам.

— Второй путь, — сказал Николаев так, словно первого и не предлагал, и развернул папку веером к Артёму. — Читайте и подписывайте.

Бумаги были скучные, и в скучности их была вся жуть. Рапорт о переводе лейтенанта Савельева А. А. из органов внутренних дел — «в связи со служебной необходимостью». Приказ о зачислении в штат АО «Двенадцатое территориальное управление» на должность «инспектор режимных объектов». Договор о неразглашении — три листа, второй экземпляр на красной копирке, и красный лист сквозь белый просвечивал, как мясо сквозь марлю. Анкета допуска по форме три.

Артём читал всё подряд, по-милицейски, от реквизитов, — и на рапорте о переводе остановился.

В графе «основание» стояло: «рапорт вх. №214-с от 12.08.2011».

Он поднял глаза. Николаев смотрел в окно.

— Здесь опечатка, — сказал Артём. — Две тысячи одиннадцатый.

— Здесь нет опечатки, — сказал Николаев, не поворачиваясь. — Документы в этой конторе не ошибаются, вы уже могли заметить. Ошибаются люди, документы — никогда. Основание вашего перевода зарегистрировано двенадцатого августа две тысячи одиннадцатого года. Пятнадцать лет

ваш перевод лежал и ждал, пока вы дорастёте до собственной подписи. Подписывайте, лейтенант. Или спрашивайте — только я на этот вопрос отвечать не уполномочен, а тот, кто уполномочен, с вами говорить пока не будет.

— Кто писал рапорт?

— Не уполномочен.

— Про меня? В тот день? С берега?

Николаев повернулся. Лицо у него было обычное, казённое, но голос — Артём услышал — на полтона живее положенного:

— Савельев. Я вам скажу одну вещь, не по инструкции, считайте — от себя. Вы сейчас думаете, что у вас забрали пятнадцать лет: что всё было решено тогда, а вы жили как дурак, не зная. Это неправильная арифметика. Правильная такая: пятнадцать лет вас *не трогали*. Дали доучиться, отслужить, поработать, побыть человеком. В этой системе, поверьте, это не норма. Это чья-то большая... — он поискал слово, и Артём вспомнил, как искали слова женщина на берегу и старший на корточках, — ...расточительность. Кто-то очень дорого заплатил за то, чтобы вы прожили обычным. Подписывайте.

И Артём подписал — все листы по очереди, а красный лист последним. Ручка шла по красной копирке туго, с нажимом, как по коже, и подпись на нём вышла глубже, чем на белых: не чернила на бумаге, а борозда. Он готов был поклясться, что за секунду до того, как перо коснулось листа,

щёлканье в сером кругляше под потолком пропустило один такт — как сердце.

— Поздравляю, инспектор, — сказал Николаев без всякого выражения. — Учебная часть — через десять дней, с понедельника; до того поработаете здесь, первую волну гасить всем. Сегодня медосмотр и первичная иммунизация, Вера ждёт в фургоне. Да, и сдайте табельное в район сами, по-человечески: вам с этими людьми ещё жить.

* * *

Медпункт в фургоне был настоящий — кушетка, шкаф со стеклом, холодильник с plombой. Вера была в белом халате поверх свитера, и это выглядело так же неправильно, как её форменная куртка не по погоде: одежда на ней всегда сидела, как на человеке, которому важно другое.

— Раздеваться не надо, — сказала она. — Рукав закатай.

Она распечатала шприц, сняла с ампулы алюминиевую шапочку, и Артём прочитал на этикетке: «Препарат С-9, доза первичная». Жидкость внутри была бесцветная, чуть маслянистая, и на просвет в ней ходили медленные тени — как в воде над глубиной.

— Что он делает? — спросил Артём.

— Официально — «снижает резонансную уязвимость персонала», — Вера набрала препарат в шприц, подняла иглой вверх, выпустила воздух. — По-человечески: ты перестаёшь уметь жалеть. Не сразу. Первичная доза — это как первая сигарета, от неё только кружится. Потом курс, раз в

квартал, всю службу. Год на третий замечаешь, что не помнишь, почему плакал на «Белом Биме». Год на пятый жена уходит, а ты понимаешь это по пустым вешалкам. Зато изделия тебя не слышат. Ты для них — жестянка. Пустая посуда. Очень удобно в поле.

Она говорила ровно, буднично, протирая ему предплечье спиртом, и от будничности этой было холоднее, чем от слов.

— Ты поэтому у Валентины чай пить перестала, — сказал Артём. Не спросил — понял.

Рука со шприцем остановилась.

— Я его не пью, препарат, — сказала Вера после паузы. — Читчику нельзя. Глухой читчик — это оксюморон, инспектор. Нас не прививают — нас *берегут*, у нас другие инструкции и другая статистика по срокам службы. — Она посмотрела ему в глаза, близко, и впервые он увидел, какого цвета у неё глаза: серые, с тёмным ободом, очень усталые. — А теперь слушай меня внимательно, потому что говорить это я не имею права, а не сказать не могу. Ты — читчик. Нераскрытый, самородный, с парным фоном — я таких не видела живьём никогда. Только в деле твоём этого нет. Тебя оформили полевым инспектором, а полевых прививают всех, скопом, одним приказом — конвейер. Бумага не знает, кто ты. Бумага знает должность. — Она повертела ампулу в пальцах. — И вот что мне не даёт покоя, Савельев: те, кто вёл тебя пятнадцать лет, не могли этого не понимать. Понимали — и пустили по конвейеру. Либо им всё равно, во что тебя пере-

плавают. Либо они очень рассчитывали, что в нужном фургоне окажется кто-нибудь вроде меня. Если я сейчас введу тебе С-9, через пять лет ты будешь отличный полевой работник: спокойный, надёжный, глухой. И тот, кто тебя ждёт, — она сказала это без нажима, как медицинский факт, — перестанет тебя слышать. Насовсем. Дозвониться будет некуда.

В фургоне щёлкал кругляш — часто, дождём.

— А если не введёшь?

— А если не введу, — сказала Вера, — то в журнале иммунизации будет стоять отметка, что ввела. Потому что без отметки тебя не допустят, а с допуском и без прививки ты будешь ходить по полю голый, и слышать тебя будут все, и звать тебя будут все, и однажды позовут так, что не отвертишься. Это не подарок, Савельев. Это самая плохая сделка из всех возможных. Я обязана её тебе предложить, потому что вторая сторона сделки — не Управление. Вторая сторона — там. — Она не показала рукой куда. Показывать было не нужно. — Решай. Вслух не надо. Кулак.

Артём посмотрел на свой правый кулак — он был уже сжат, оказывается, давно.

— Разожмёшь — колю по-настоящему, — сказала Вера. — Держишь — я лью её в вату, пишу отметку и с этой минуты я твой соучастник до пенсии. Одной из нас двоих не будет — считай, что оба сели. Ну.

Кругляш щёлкал.

Артём держал кулак. Он держал его так, как держал пят-

надцать лет, — молча, у ноги, не показывая никому; только теперь это впервые был не рефлекс, а подпись.

Вера кивнула. Спокойно, по-рабочему, как принимают доклад. Выдавила препарат в комок ваты — вата на секунду будто отяжелела, потемнела, как от воды, — и бросила её в железный лоток с надписью «Отходы кл. Б». Потом всё-таки кольнула Артёма пустой иглой — глубоко, больно.

— След должен быть, — объяснила она. — На тебя теперь будут смотреть внимательные люди. Пусть видят след.

* * *

Вечером Артём в последний раз запер опорный пункт — ключ ему утром вернули, вместе с новым удостоверением: сдавай, мол, хозяйство сам.

Постоял на крыльце. Посёлок лежал перед ним в ранних сумерках — две улицы, башня, комбинат за шлагбаумом, — и в окнах зажигался свет, обычный жёлтый свет, и где-то у клуба уже собиралась тихая очередь на фильм, которого нет. За крышами, невидимая отсюда, лежала в берегах вода и помнила.

Участка у него больше не было. Района не было, званий не было, той жизни, где самым страшным делом была кража аккумуляторов, — не было тоже.

Теперь у него был фонд.

* * *

*[лист согласования к приказу о зачислении;
собраны визы служб]*

По кандидату САВЕЛЬЕВ А. А. (объект «ПАРНЫЙ», в разработке с 2011 г.):

Первая служба: не возражаем. Прогностическая ценность кандидата — см. закрытое приложение.

Вторая служба: не возражаем.

Третья служба: ходатайствуем. Оценка полевой пригодности — высокая (рапорты Н. от 12.08, 14.08).

Четвёртая служба: не возражаем при условии планового зашумления родственных связей по месту прежней службы.

Пятая служба: не возражаем. Первичная иммунизация проведена, отметка м/с В. в журнале, конт. №4411. Плановый контроль титра — через 90 суток.

Шестая служба: интереса не имеем.

Виза без номера службы, без даты, почерк на визе тот же, что на визе от 12.08.2011 (сличение прилагается): «Не возражаем. Мы никогда не возражали».

Пометка Инспекции, красным: «К сведению Коллегии: контрольный титр через 90 суток покажет ноль. Предлагаю уже сейчас решить, кого мы тогда будем спрашивать — медсестру или тех, кто пятнадцать лет готовил этого мальчика к работе, для которой прививка противопоказана».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Концерт

Гасить первую волну оказалось работой — в самом сером смысле слова: с графиком, с нормой выработки, с обеденным перерывом.

По утрам в опорном пункте — теперь он назывался «штаб карантинных мероприятий» — Николаев раздавал адреса. Лёгкие случаи шли пачками, по шесть-восемь в день. У лёгких изымали подпитку и проводили «беседу с разъяснением» — Артём, послушав две такие беседы, понял, что разъясняли в них ровно ничего: привитые сотрудники Первой службы садились напротив носителя и полчаса говорили с ним о погоде, о ценах, о поликлинике — ни разу не дав разговору свернуть туда, куда он рвался. Сожаление, которому не дали слова, тихло, как костёр, к которому перестали подносить сухое. К концу беседы человек скучнел, зевал — и переставал светиться. Изделие в нём засыпало обратно.

— И всё? — спросил Артём после первой такой беседы.

— Для слабых — всё, — сказал Николаев. — Этот голод лечится недокормом. Запишите, инспектор, вам на учебке пригодится: девяносто процентов нашей работы — это не подвиг. Это диета.

Свириденко пришёл сам. Встал в дверях штаба, мял кепку, потом поставил на стол ключи от «Явы» — аккуратно, как ставят рюмку на поминках.

— Заберите, — сказал он. — Я на ней даже не езжу уже. Я в гараже сижу и на неё смотрю. Вчера жена зашла — а я ей говорю: «Тань, погоди, не сейчас». Родной жене. Мотоциклу. — Он подвигал кепку по столу. — Заберите, пока я его не полюбил сильнее всего остального.

«Яву» выкатили и увезли в фургоне. Свириденко смотрел вслед, и лицо у него было как у человека, который сдал в больницу запойного брата: правильно, необходимо — и никогда себе не простит.

Очередь у клуба Первая служба увела. Не разогнала — Артём успел усвоить, что такое не разгоняют, — а именно увела: в четверг афиша с нечитаемым названием сама собой обнаружилась на стене старой автостанции за посёлком, и вечером очередь стояла уже там, такая же тихая и терпеливая. Как это сделали, Артём не спрашивал. Он начинал понимать, что есть вопросы, ответы на которые выдаются только вместе с новой формой допуска.

А Люба с почты отказалась.

— Коса моя, — сказала она в дверях, не пуская. — Была моя и есть моя. Что ж вы за люди такие, что у бабы косу отнимаете? Идите, куда шли.

И её оставили. Николаев прикинул что-то по своим таблицам — «подпитка ноль-ноль-четыре, периферия, наблю-

дение раз в квартал» — и махнул рукой. Артём записал себе и это: система, которая забрала у Клюева жену, оставила Любе косу. Не по доброте. По арифметике. Доброта и арифметика здесь иногда давали один и тот же ответ, и в такие дни работать было можно.

Тяжёлый случай был один. И для него Первая служба придумала то, от чего Артём две ночи не спал.

* * *

Операция называлась «мероприятие культурного досуга», и уже по одному этому названию — самому скучному из всех возможных — Артём понял, что готовится что-то за гранью его новых представлений о норме.

Суть ему объяснила Вера, вечером, на крыльце.

— Ирму твою выписать нельзя, — сказала она. — То есть можно, но считай сам. У Валентины Сергеевны было одно сожаление на двоих с мужем, локальное, мы его изъяли с документами. А у Ирмы сожаление — это она сама и есть. Тридцать лет, каждый день, каждый урок: «могла — не стала». Оно в неё вросло, как дерево в забор. Начнём пилить забор — свалим дерево. После выписки она не «расстроится», Савельев. После выписки она ляжет и не встанет, у Первой службы прогноз — четыре месяца. Понимаешь?

— Понимаю. А что вместо?

— А вместо — ей дадут доиграть, — сказала Вера. — Целиком. Один раз. Концерт в клубе, афиша уже висит. Сожаление, которое высказано до конца, до дна, — гаснет само:

ему больше нечего хотеть. Это называется «выпуск пара». Разрешение подписано на самом верху, потому что метод... — она усмехнулась без веселья, — метод не наш. Метод — с той стороны устава.

— Погоди. Вы же сами говорили: высказанное — топливо. Целый клуб народу, она играет, все слушают, все — как это у вас — в резонансе. Это же не выпуск пара. Это костёр посреди сеновала.

Вера посмотрела на него долго, и в сумерках ему показалось, что она улыбается.

— Быстро учишься, — сказала она. — Да. Поэтому в зале будем сидеть мы. К завтрашнему привезут ещё три фургона таких, как мы, из области — рассадка через два кресла на третье, гасить по площади. Наша работа завтра — слушать Шопена и не чувствовать ничего. А теперь сам: кто в этом зале будет единственным из наших — без прививки?

Артём молчал.

— Вот именно, — сказала Вера. — Поэтому ты завтра стоишь на улице. У входа. И что бы ни было — внутрь не заходишь.

* * *

Клуб набился полный — посёлок пришёл весь, от шлагбаума до дальних домов, и никто не спрашивал, почему учительнице музыки вдруг концерт: афиша висела, значит положено.

Артём стоял на крыльце, у двери, спиной к залу, лицом

к темнеющей улице — как стоят в почётном карауле. Дверь за его спиной была двойная, обитая дерматином, и через оба слоя, через вату и клеёнку, музыка всё равно доставала до него — не звуком даже, а давлением, как достаёт через стену соседский праздник.

Она играла два часа. Артём не знал названий — что-то он слышал по телевизору, что-то не слышал никогда и никогда больше не услышит, потому что, он понимал, некоторые вещи она играла не из нот, а из тридцати лет школьных коридоров, и нот таких нет. Посёлок за дверью сидел не дыша. Один раз — Артём почувствовал это лопатками — весь зал разом сделал вдох и не сделал выдоха, и серый кругляш над дверью клуба защёлкал так, что Артём взялся за ручку двери.

Но выдох случился. Зал выдохнул, кругляш унялся, музыка пошла тише, ниже, к земле — и кончилась.

Аплодировали долго, по-деревенски, тяжёлыми ладонями. Потом посёлок расходился мимо Артёма, и он всматривался в лица: лица были заплаканные и лёгкие. С людей будто сняли по мешку. Их сожаления — маленькие, среднего размера, всякие — выговорились сегодня чужой музыкой, за два часа, задаром.

Ирму Яновну вывели с чёрного хода, под руки, — она не могла идти сама, но держалась прямо. У служебной машины она остановилась, посмотрела на свои руки — долго, при свете фонаря, ладонями вверх, как тогда. Потом сложила их

— обыкновенно, по-старушечьи, у живота, — и села в машину сама.

Руки ушли с музыкой. Всё, что могло звучать, — прозвучало; изделию в ней больше нечего было хотеть. Прогноз Первой службы на дожитие сняли той же ночью.

Николаев стоял рядом с Артёмом на пустом крыльце и смотрел, как гаснут окна клуба.

— Запомните сегодняшнее, инспектор, — сказал он. — В подробностях запомните. Вы сейчас видели, как это работает: дать сбыться — и погасить на излёте. Красиво, гуманно, эффективно. Так вот, у этого метода есть имя, есть автор, автора расстреляли в тридцать седьмом, и всё, что вы сегодня чувствовали, — «ведь работает же, ведь по-людски же», — всё это уже думали до вас. Целыми отделами думали. Дважды в истории конторы эти отделы получали волю. Про первый раз вам расскажут на учебке. Про второй не расскажут — про второй у вас нет формы.

— А почему тогда сегодня — разрешили?

— Потому что доза, — сказал Николаев. — Одна старуха, один зал, один вечер, оцепление из сорока привитых. Яд в дозе — лекарство. Вопрос всегда один: кто держит ложку. — Он поднял воротник; с воды тянуло первой осенью. — Сегодня держали мы. Идите спать, Савельев. В понедельник — Кольцо.

* * *

[отчёт по мероприятию; выдержка; адресат —

Первая служба]

...фон по кусту после мероприятия — 2,9 еж (до: 3,8). Расчётное гашение достигнуто. Носитель И. переведена в категорию «погашенные, наблюдение».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ (аналитик 1-й службы, к листу не подшивать — подшито Инспекцией):

Баланс не сходится. Совокупное сожаление зала оценивалось в 6,2 еж-часа. Погашено (по датчикам) — 4,1. Разница — 2,1 еж-часа — не рассеялась. Спектральный след ведёт за пределы куста, в сторону акватории. Совмещение с данными по И-74 даёт совпадение 0,93.

Вывод, который я обязан записать, хотя предпочёл бы ошибиться: излишек стёк в воду. Изделие-74 приняло его. Оно принимает всё, что генерирует очаг, с первого дня вспышки — очаг работает на него, как зарядное устройство.

Пересматриваю оценку события. Сев по нас. пункту Ключевой не был направлен против населения. Население — фитиль. Сев был направлен по Изделию-74.

Кто-то кормит воду. И когда она наестся, то, что мы называем «набуханием», будет не над посёлком.

Оно будет под ним.

** * **

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кольцо

В воскресенье, за день до отъезда, Артём сделал два прощальных визита. Официально — ни одного: инспектору режимных объектов попрощаться по адресам вспышки не полагалось. Он пошёл как человек. Он пока ещё помнил, как это.

Клюев открыл сразу — и Артём не сразу понял, что не так. Потом понял: Клюев был в очках. В её очках, на цепочке, +3,5. Под мышкой — сложенная газета с недорешённым кроссвордом.

— А, лейтенант, — сказал он. — Заходи. Чаю?

На кухне было чисто, по-мужски голо, и только на столе, на чистой салфетке, лежала ложка, которую никто не собирался убирать. Скатерть — та, воскресная — так и лежала на столе, теперь под клеёнкой: стирать её Клюев, понял Артём, не стал и не станет, и маленькое тёмное пятно просвечивало сквозь клеёнку, как вмёрзшее в лёд. Жизнь стояла на своих местах — так стоит мебель в комнате, откуда вынесли главное.

— Вы же в них видите? — спросил Артём про очки, кивнув. — Диоптрии же чужие.

— В том и штука, что вижу, — спокойно сказал Клюев,

наливая. — Лучше, чем в своих. Только в них всё какое-то... ближе. Вон, кроссворд решаю без лупы. А вчера в окно посмотрел — а там вода. У нас из окна воды не видать, лейтенант, у нас четвёртый дом, двор и котельная. А в них — видать. — Он снял очки, сложил, посмотрел на них без страха, буднично. — Я их теперь на ночь снимаю и в футляр запираю. На защёлку. Смешно?

— Не смешно, — сказал Артём.

— Вот и я думаю — не смешно. — Клюев отхлебнул. — Ты ведь прощаться пришёл. Уезжаешь. Ну, дело молодое, служивое... Ты вот что. — Он поставил чашку и некоторое время двигал её по столу, как двигал тогда кепку Свириденко, подбирая слова из какого-то тяжёлого, глубинного запаса. — Она мне под конец сказала. Валя. Не при вас уже, ночью, я не спал, а она подошла и говорит — тихо так, как расписание объявляют: «Скоро у воды будет много работы. Пусть мальчик едет учёный, а вернётся — пусть будет готовый». Я тогда не понял, к чему. А теперь ты уезжаешь учиться — и выходит, она про тебя. — Он поднял на Артёма глаза, старые, ясные. — Они там, лейтенант, знают наперёд. Она не пугала. Она предупреждала. Разницу понимаешь?

— Начинаю, — сказал Артём.

— Ну и всё. Езжай. — Клюев встал, давая понять, что чай кончился, и уже в прихожей, глядя, как Артём обувается, добавил ворчливо, по-отцовски: — Борщ там столовский не хай. Какой есть — такой ешь. Понял меня?

* * *

Мать жила в деревне, в двадцати минутах от посёлка, в доме, где Артём вырос, — окнами от воды. Окна на воду были в доме всегда, но после того августа отец забил их наглухо и прорубил новое, в другой стене; отца не стало через шесть лет — сердце, — а окна так и остались: слепая стена к воде, и дом, как человек, отвернувшийся от собеседника.

Мать встретила его на крыльце, вытирая руки о фартук, и сказала с порога:

— Ну наконец-то. А я уж банки собрала. На севере огурцов таких нет.

Артём остановился на нижней ступеньке.

Он ещё ничего ей не говорил. Ни про перевод, ни про отъезд, ни про какой север — он и сам ни про какой север не знал; в его бумагах не было слова «север». Он пришёл сказать, что уезжает, и подобрать для этого слова попроще — а слова уже были подобраны. Не им.

— Мам, — сказал он осторожно. — Кто тебе сказал про север?

— Как кто? — Она даже удивилась, наморщила лоб. — Ты и сказал. Или... — лоб разгладился, глаза на секунду ушли куда-то внутрь, будто она читала с внутренней стороны века, — ...в письме было? Ну да не путай мать, помню же: перевод с повышением, север, связи не будет месяцами, писать на часть. Я и не жду, что писать будешь. Ты садись, я борщ разогрею.

Опять борщ. Он ел — борщ был материн, настоящий, только сама она сидела напротив как-то слишком спокойно, со спокойствием не своим, выданным, как выдают казённое бельё: чисто, ровно, без единой складки. Четвёртая служба работала аккуратно. «Плановое зашумление родственных связей» — вспомнил он визу на листе согласования. Вот как оно выглядит вблизи. Вот как выглядит забота конторы: твоей матери не будет больно, потому что ей уже всё объяснили. Тебя выписали из её тревог, как Валентину — из ЗАГСа.

— Мам, — сказал он, отодвинув тарелку. — Ты как тут одна? Может, к тётке в район, хоть на зиму?

— Ещё чего, — сказала мать. — Тут дом. Тут вы все. — Она сказала «все» легко, не заметив, и стала собирать посуду. И уже у раковины, спиной к нему, добавила обычным голосом, каким говорят про погоду: — Митенька снился на неделе. Весёлый такой, большенький уже. Говорит: «Мам, ты не бойся, тут хорошо. Скоро увидимся». Я и не боюсь. Что ж бояться, раз хорошо.

Вода из крана шла ровно, блестела на её руках.

Артём сидел не дыша, и в голове у него холодным столбиком, как в отчёте, вставляли строчки: фон растёт. Вода наедается. Достает уже не только до него — до неё. До всех, у кого на дне лежит своё. «Скоро увидимся».

Уезжая, он сделал то, чего делать не имел права: с автобусной остановки позвонил Вере и попросил, коротко и не по форме, присмотреть. Вера выслушала. Помолчала.

— Дом на Заречной, окнами от воды, — сказала она. Не спросила — сказала. — Я знаю этот дом, Савельев. Он у меня в обходном листе первым номером. С первого дня.

И положила трубку раньше, чем он успел спросить, что это значит.

* * *

До Москвы он ехал обычным поездом, плацкартом, среди обычных людей — и всю дорогу ловил себя на том, что слушает. Женщина за перегородкой рассказывала попутчице, как не вышла замуж в Севастополе, — и Артём почувствовал её слова кожей, как сквозняк. Солдатик у окна жалел, что не попрощался с дедом. Проводница не жалела ни о чём, и рядом с ней было легко, как в тени.

«Вот так это у них, — подумал он. — У нас». Страна за окном лежала огромная, и вся она, сколько её было, сожалела о чём-нибудь — тихо, вполголоса, на верхних полках, — и всё это где-то учитывалось, взвешивалось в ежах и оседало на дно.

На Ярославском вокзале его встретил человек в железнодорожной форме, спросил фамилию, не представился и повёл — не к метро и не к такси, а вдоль платформ, дальше, туда, где кончаются таблички и начинаются служебные тупики. Там стояла электричка. Обычная зелёная электричка в четыре вагона, только окна у неё были закрашены изнутри серой краской, а на борту, где положено быть маршруту, висела табличка: «В ДЕПО».

— Садитесь в третий, — сказал железнодорожник. — В третьем сиденья мягче. Ехать долго.

Сколько «долго», Артём не понял: часы в телефоне сначала показывали время, потом показывали разное время, потом телефон извинился и выключился. Электричка шла то быстро, то очень медленно, несколько раз стояла — подолгу, в полной тишине, и во время одной из стоянок снаружи, по обшивке, кто-то провёл — мягко, вдоль всего вагона, как проводят ладонью по боку лошади. Артём вспомнил памятку, выданную вместе с проездными документами, пункт девятый, и остался сидеть.

Потом за крашеными окнами перестало мелькать даже то серое, что мелькало, свет в вагоне пожелтел по-подземному, и электричка, скрипнув, встала окончательно.

Платформа была короткая, узкая, без названия. Название ей заменяла цифра, выложенная кафелем на стене: «12».

Вдоль платформы, в тоннеле, уходя в темноту в обе стороны, стояли поезда. Старые вагоны метро, десятки, ухоженные, чистые, с занавесками на окнах, со светом внутри, с табличками на дверях: «Учебная часть», «Канцелярия», «Буфет», «Опись, приём с 9 до 13». Между вагонами были перекинуты крытые тамбуры-переходы, и по всему этому лежал ровный подземный гул — не поездов, а вентиляции, дыхания, жизни. Штаб, который никогда не приходил на станцию. Станция, к которой никогда не приходил поезд.

Кольцо.

На платформе, под фонарём, стоял человек и ждал его — невысокий, сухой, старый той старостью, у которой не угадывается цифра. Пальто не по сезону. Руки за спиной. Он смотрел, как Артём выходит из вагона, и взгляд у него был странного устройства: он смотрел чуть-чуть мимо и чуть-чуть насквозь, как смотрят на фотографию человека, а не на человека.

— Савельев, — сказал старик. Не спросил — поставил галочку. — Моя фамилия Вейс. Я ваш наставник, что бы это слово ни значило. Идёмте, вы устали с дороги. — Он повернулся, сделал два шага и добавил, не оборачиваясь, тем же ровным голосом: — Ужин вам понравится. Будет борщ.

— Откуда вы знаете, что я... — начал Артём.

— Не знаю, — сказал Вейс. — Помню.

Пропуск, который выдали Артёму на входе в учебный вагон, был картонный, серый, с фотографией, которую он никогда не делал. Пропуск Вейса, мелькнувший рядом в окошке проверки, был такой же, только в углу его стояла синяя литера «В» — и дежурный, проверявший документы, посмотрел на эту литеру, на Вейса, снова на литеру. И поздоровался первым.

* * *

[выдаётся на руки вместе с проездными документами; хранить до прибытия; по прибытии сдать]

ПАМЯТКА

следующему к месту прохождения подготовки

1. Посадка производится только в вагон, указанный сопровождающим. Причины указания именно этого вагона следующему знать не требуется.

2. Во время следования запрещается: открывать окна (окна не открываются; запрет сохраняет силу), фотографировать, вести счёт времени вслух.

3. Часами и телефоном во время следования пользоваться не рекомендуется. Показаниям часов во время следования доверять запрещается.

4. Разговоры с попутчиками разрешены. Убедитесь, что попутчик сел вместе с вами.

5. Если поезд остановился и за окном светло — ожидайте. Это станция.

6. Если поезд остановился и за окном темно — ожидайте. Это тоннель.

7. Если поезд остановился и вы не можете определить, светло за окном или темно, — переседайте спиной к окну. Ожидайте. Это пройдёт.

8. Приём пищи в пути разрешён. Делиться пищей с лицами вне вагона запрещено независимо от того, как они просят.

9. Если по внешней стороне вагона проводят рукой — оставайтесь на месте. Состав осматривают. Не вы.

10. По прибытии предъявите документы. Если встречающий называет вашу фамилию раньше, чем вы её назвали, — это нормально. Если вы

*называете фамилию встречающего раньше, чем он
представился, — сообщите об этом дежурному.
Это важно.*

Счастливого пути.

Опаздывающих не бывает.

** * **

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ ПЕРВОМУ

Материалы фондов. Допуск: форма 1 и выше

[учебное пособие «Основы теории остатков», издание 9-е, для служебного пользования; стр. 41]

§12. Могильники (справочно, для младшего состава)

Запомните простое и перестанете бояться неправильного: могильник — это не «место, где утонули люди». Могильник — это место, где утонула жизнь, которая должна была продолжаться.

Деревня, снесённая под водохранилище, прожила четыре-ста лет и рассчитывала прожить ещё столько же: в ней были начаты дома, посажены сады, сговорены свадьбы. Всё это — начатое и неоконченное — не исчезает при затоплении. Оно остаётся на месте и продолжает хотеть произойти. Слой такого неоконченного, спрессованный и изолированный (водой, грунтом, режимом), мы называем могильником.

Могильник не зол. Могильник — как и любой остаток — доделывает недоделанное: достраивает дома, доигрывает свадьбы, дорастивает детей. Для этого ему требуется материал. Материалом является человек, находящийся в резонансе.

Отсюда три правила работы у могильников, которые вы обязаны знать до выезда:

1. Могильник слышит через воду, грунт и родную кровь — на любом расстоянии.
2. Могильнику нельзя давать повода: у воды не жалеют, не вспоминают и не поют.
3. Если могильник начал отдавать (звуки, свет, предметы, «почту») — он не делится. Он приманивает.

[паспорт изделия; действующая редакция; вымарки — по форме 1]

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

экз. №1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ №74 («Погост»)

Класс: остаток недожитого, могильник.

Режим: наблюдение. С 1949 г. — наблюдение усиленное.

Локализация: акватория вязовского водохранилища, Пермский край. Затопление произведено в 1958 г. Под зеркалом воды — нас. пункты Вязовка, Согра, Кулига, Нижний Лог. (4 шт.), кладбище прихода (могилы не переносились), колокольня (не взорвана).

Особенность изделия: единственный учтённый могильник, ведущий отбор. Прочие могильники фонда принимают материал по случайному резонансу. Изделие-74 выбирает и готовит. Установлено: изделие способно поддерживать у принятых единиц процессы, аналогичные жизни (рост,

взросление, обучение), назначение процессов не установлено.

Перечень приёмов (устанавливался ретроспективно, полнота не гарантируется):

1961 — П. С., 9 лет

1969 — В. А., 11 лет

1978 — 8 лет

1984 — КЛЮЕВА В. С., 32 года (*приём в момент гибели; см. прим. 4*)

1993 — А. Д., 10 лет

2002 — 12 лет

2011 — САВЕЛЬЕВ Д. А., 8 лет

Прим. 4: приём Ключевой В. С. произведён изделием вне зоны акватории (р. Сылта., 40 км) — единственный зафиксированный случай приёма через связанную воду. После 1984 г. запрещено списывать утопления в радиусе 100 км как некриминальные без проверки по линии Управления.

Прим. 7 (внесено 2011 г.): при приёме единицы САВЕЛЬЕВ Д. А. зафиксирован парный резонанс с братом принятого. Расчёт Первой службы: изделие произвело не приём. Изделие произвело разделение пары — одну единицу взяло, вторую оставило дозревать снаружи. Цель разделения не установлена. Предложение немедленного изъятия второй единицы отклонено (осн.: виза от 12.08.2011, см. личное дело «ПАРНЫЙ»).

Прим. 9 (текущий год): с мая — установлено ретроспек-

тивно, августовским пересчётом, — фиксируется направленная подпитка изделия через очаг 206 (см. св. по н. п. Ключевой). Изделие аккумулирует. Расчётная ёмкость до порога набухания — 40 суток. Впервые за период наблюдения изделие подаёт сигнал не «вниз» (приманивание), а «вверх» — установленный адресат сигнала: единица наблюдения «ПАР-НЫЙ».

[подшито к паспорту отдельным листом; бумага старая, машинка другая; гриф снят в 1991 г. и восстановлен в 1994 г.]

Из рапорта начальника партии гидроизысканий, 1957 г., до затопления:

«...дополнительно доношу, что жители д. Вязовка от переселения уклоняются мотивами суеверного характера. Опрошенный житель Пестерев показал буквально: «Нам нельзя съезжать. Мы тут не живём, мы тут держим. Деды держали, и мы держим. Зальёте — оно, может, и крепче станет, вода — она хороший замок. Только замок без хозяина — это уже не замок, а погреб. И что у вас в погребе вырастет, вы сами узнаете лет через семьдесят»...

...ходатайствую о переносе створа плотины на 11 км выше по течению. Расчёты прилагаю».

Резолюция на рапорте (1957): «Отклонить. Сроки. К съезду».

Пометка на полях (почерк современный): «Семьдесят

лет истекают в 2028 году. Проверьте, кто из потомков „державших“ жив и где. Начните с фамилии Савельевы.»

АКТ ВТОРОЙ

КОЛЬЦО

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ложка

Утро на Кольце объявляли светом.

В шесть тридцать лампы в жилом вагоне медленно, за десять минут, разгорались от ночного жёлтого до дневного белого — и по вагону начинало пахнуть хлебом: буфет был через два тамбура, и вентиляция, великая подземная вентиляция Кольца, разносила этот запах по составу, как новость. Окна в купе были настоящие, вагонные, с занавесками в казённый цветочек. За окнами стоял тоннель. Артём в первое же утро отодвинул занавеску и понял, почему все держат их задёрнутыми: тоннельная стена в метре от стекла создавала невыносимое ощущение поезда, который вот-вот тронется. Который сорок лет вот-вот тронется.

В буфете давали кашу, хлеб, яйца и чай в стаканах с подстаканниками — подстаканники были старые, тяжёлые, с дважды сточенными инвентарными номерами. Борща утром

не было. Борщ, как и обещал Вейс, был вчера, в день приезда, и был хорош.

Набор оказался — дюжина. Двенадцать курсантов, и Артём был уверен, что число не случайно, но спрашивать уже научился не всё.

С троими он сошёлся в первые же сутки — насколько тут сходились.

Паша Стрелицын был из ЗАТО «Стрелицы-2», потомственный: отец — комендант периметра, дед — комендант периметра. Фамилия у него была не своя — фамилию давали по объекту, всему посёлку, и это Артёма поразило едва ли не сильнее всего остального: город, где людей зовут в честь того, что они сторожат. Паша вырос в трёхстах метрах от деревни, где всегда одиннадцатое июня семьдесят восьмого года, и говорил об этом, как говорят о погоде: «У нас за забором лето всегда. Мы в детстве туда лазили на спор — на минутку можно, если по часам. Главное — не досидеть до вечера. Вечером у них танцы, а с танцев не возвращаются».

Зоя была из линии Четвёртой службы, дочь «легендистки»: мать всю жизнь писала городские мифы по разнарядке. Зоя знала наизусть, какие из знаменитых страшилок — подряд конторы, и портила Артёму одну легенду за другой, пока он не попросил перестать. «Про чёрную „Волгу“ — наша. Про пиковую даму — наша, шестьдесят девятый год, отдел детского зашумления. Про гроб на колёсиках вообще смешно: это же инструкция по эвакуации, зарифмованная, чтобы

дети запомнили. Вы все её знаете с трёх лет. Работает».

Третий был Мун — тихий, аккуратный, со значком, которого Артём не знал; на все вопросы о том, откуда он, Мун вежливо отвечал: «Из фондов», — и было непонятно, работал он там или хранился.

* * *

Учебный класс располагался в вагоне №9 и выглядел как школьный кабинет, чудом уцелевший с середины прошлого века: парты, доска, мел; на стене — таблица классов изделий, как таблица Менделеева; портретов не было — вместо портретов висела фотография водосброса какой-то плотины, и Артём старался на неё не смотреть.

А на учительском столе, на простой белой салфетке, лежала ложка.

Столовая, алюминиевая на вид, чуть гнутая у черенка — такие тысячами звенели по всем столовым страны. Она лежала на самом видном месте, и никто из курсантов не обращал на неё внимания: ложка и ложка, забыл кто-то.

Вейс вошёл без пяти восемь. Дежурный по классу — им был Паша — поздоровался первым, громко и слегка поспешно, и Артём отметил, как по-разному это делают люди: Паша — как здороваются с начальством, буфетчица утром — как с покойником.

— Садитесь, — сказал Вейс. — Курс называется «Основы». Основ будет много, они скучные, вы их выучите. Но начнём мы не с них. Начнём с экзамена.

Он прошёл к столу и остановился возле ложки, не касаясь её.

— На этом столе, — сказал он, — лежит предмет. Задание простое: скажите мне, что это.

Тишина была недолгой.

— Ложка, — сказал кто-то с задней парты, и по классу прошёл смехок.

— Ложка, — согласился Вейс. — Столовая, алюминиевая, гнутая. Изготовлена артелью «Металлист», город Кузнецк, артикул 6—14, есть в каталоге за пятьдесят третий год. Кто согласен, что это ложка, поднимите руку.

Руки поднялись — все, вразнобой, с той школьной неохотой, с какой поднимают руки взрослые люди. Артём поднял свою вместе со всеми — и в момент, когда ладонь пошла вверх, что-то в нём, не спросив его, руку остановило.

Он сидел с полуподнятой рукой и не мог объяснить. Ложка была обыкновенная. Она лежала на салфетке, тускло блестела, отражала лампу... Вот. Артём медленно опустил руку и сказал, раньше, чем успел испугаться собственного голоса:

— Она лампу отражает. А нас — нет. Мы все вокруг стола, а в ней никого.

Стало очень тихо. Двенадцать человек посмотрели на ложку, и одиннадцать из них увидели то же самое, и Артём почувствовал, как по классу, от парты к парте, идёт холод — тот самый, который он уже умел узнавать.

— Изделие Н-четыре, — сказал Вейс буднично. — «Лож-

ка». Вошла через свиж в столовой треста «Кузнецкшахто-строй» в марте тысяча девятьсот пятьдесят четвёртого. Семнадцать лет пролежала в общем ящике. Ею ели. Каталог, артикул, артель «Металлист» — всё это у неё *есть*, всё подлинное, можете проверить: артель, которой она не выпускалась, внесла её в свой каталог задним числом и не заметила этого. Реальность старательна, товарищи курсанты. Реальность — отличница. Когда в неё попадает то, чего не может быть, она не кричит. Она достаёт тетрадку и аккуратно выписывает этому справку.

Он взял ложку — просто взял, пальцами, как ложку, — и подержал на весу.

— Запомните её. Это самое важное, что вы увидите за весь курс, важнее всего тревожного табеля. Нездешнее не обязано быть страшным. Оно обязано быть чужим. И вы — слушайте меня внимательно — вы его не отличите. Никогда. Ни по виду, ни по прибору, если оно улежалось. Сколько его вокруг вас — не знает ни Первая служба, ни Коллегия, ни я. Может быть, ложка у вас дома. Может быть, дом. — Он положил её обратно на салфетку, ровно на то же место, с точностью, от которой делалось нехорошо. — Живите теперь с этим. Урок первый окончен, переходим к скучному.

Скучное оказалось расшифровкой единиц. Артём узнал, что «еж» — это не фамилия и не зверь: «единица жалости», введена в сорок девятом году, потому что слово «сожаление» в документах того времени писать было нельзя — оно счи-

талось идеологически невозможным на территории СССР. Гошину байку про засекреченную фамилию Вейс тоже знал:

— В поле вам скажут: фамилия была, засекретили. Это ложь, но хорошая, обкатанная. Четвёртая служба в своё время запустила её специально: ложь, которую приятно рассказывать, охраняет правду лучше грифа. Запишите это. Пригодится чаще, чем табельное оружие.

* * *

Вечером, после отбойного гонга, Артём остался в классе — дежурным полагалось стереть доску и погасить свет. Он стирал таблицу классов и спиной чувствовал ложку на столе; ощущение было глупое, детское — как в пустой комнате с зеркалом.

— Савельев.

Вейс стоял в дверях — Артём не слышал, как открылась дверь, и уже понимал, что не услышит никогда.

— Разрешите вопрос, — сказал Артём. — Вы сказали: не отличим. Никогда. Тогда зачем она здесь? Если урок в том, что задача нерешаемая?

Вейс некоторое время смотрел на него — чуть мимо и чуть насквозь.

— Хороший вопрос. На него есть казённый ответ: смирение — профессиональное качество. — Он подошёл к столу и посмотрел на ложку сверху вниз, как смотрят в колодец. — А есть неказённый. Задача нерешаемая для всех. Но вы сегодня подняли руку — и опустили. Одиннадцать человек

увидели пустое отражение после того, как вы сказали. Вы — до того. — Он поднял глаза. — Из каждого набора это делает один. Реже — ни одного. Я держу её на столе сорок лет не для того, чтобы учить смирению, Савельев. Я на неё ловлю.

Он пошёл к двери, у порога остановился и добавил, не оборачиваясь, ровным своим голосом:

— Гасите свет. И вот ещё. Когда вам в следующий раз приснится дорога под воду — досмотрите сон до конца. Не просыпайтесь усилием, это невежливо. Тот, кто идёт вам навстречу, идёт очень издалека, и у него всё меньше... — он искал слово, единственный раз за весь день, — ...остановок.

Дверь закрылась бесшумно.

Артём стоял посреди учебного класса, сжав кулак, и ложка на столе отражала лампу, доску, таблицу классов — и никого больше.

* * *

[выписка из учебного плана набора «26-Д»; на руки не выдаётся]

Дисциплины основного цикла:

1. Основы теории остатков — 120 ч. (преп. ВЕЙС Я. К.)

2. Учёт и классификация. Паспорт изделия — 80 ч.

3. Канцелярская практика. Работа на красной копирке — 60 ч. +40 ч. чистописания.
Внимание: черновики сжигаются в присутствии

преподавателя.

4. Поведение при носителе. Запретный словарь — 40 ч. Зачёт принимается провокацией.

5. Поведение у воды — 20 ч. Теория. Практика не предусмотрена. Не предусмотрена.

6. Зашумление. Основы легендирования — 60 ч.

7. Действия при набухании и свище — 80 ч., из них 6 ч. — «поведение в необратимой фазе» (конспектов не вести).

8. Физическая подготовка, стрельба — 90 ч. Примечание: за 68 лет существования курса табельное оружие применялось выпускниками по назначению 4 (четыре) раза. Дисциплина сохранена по настоянию Коллегии.

Пометка руководителя учебной части: «Набор 26-Д укомплектован. Двенадцать. Реакция на Н-4 в первый день: один. Кресла интересуются именно этим показателем — им и отвечаю: один. Савельев.»

** * **

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Чистописание

Канцелярскую практику вела Нина Максимовна — маленькая, сухая, с самой прямой спиной, какую Артём видел в жизни, и с руками пианистки, изуродованными артритом. Про неё на Кольце говорили тихо и разное, но одно совпадало во всех версиях: лучший растворитель Управления за всю историю наблюдений. Сорок шесть подтверждённых растворов. Живая.

— Пишущий прибор, — сказала она на первом занятии, подняв над головой обыкновенную перьевую ручку, — это единственное оружие, которое Управление применяет каждый день. Стреляете вы раз в жизни, а пишете — постоянно. Поэтому стрельбе у вас девяносто часов, а мне вас отдали на сто. И я вам сразу скажу то, что вы должны запомнить телом, как горячую плиту: бумага не бывает черновой. Черновик — это документ, которому повезло. Пока повезло.

Класс у неё был особый: вагон без окон вовсе, столы с бортиками, как в лаборатории, и в углу — печь. Настоящая, чугунная, с трубой, уходящей в потолок тоннеля. В печи горел ровный дежурный огонь. Каждый исписанный лист в конце занятия пересчитывался по номерам и либо подшивался, ли-

бо сжигался — лично Ниной Максимовной, при всех, с проговариванием вслух: «Лист семь, учебный, силы не имеет, в огонь». Первую неделю это казалось Артёму театром. Потом Паша Стрелицын на спор унёс из класса смятый черновик в кармане — просто смятый лист, где он трижды неудачно начал фразу «объект наблюдения проявляет признаки» — и две ночи подряд весь их вагон просыпался от того, что кто-то за стеной проявлял признаки. На третий день Паша сдал листок сам, серый лицом. Лист сожгли. Признаки прекратились.

— Я вас предупреждала словами, — сказала Нина Максимовна без всякого торжества. — Теперь вас предупредил лист. Он доходчивее.

* * *

Писали много, тупо и страшно.

Сначала — просто диктанты: скучнейшие акты приёмки, описи, рапорты. Потом — «взвешивание»: одно и то же предложение, написанное разными словами, ложилось на бумагу с разным весом, и их учили этот вес слышать. «Предмет находится в комнате» — не весит ничего. «Предмет лежит в комнате» — уже весит: лежит — значит, положили; положили — значит, кто-то. Каждое лишнее значение — крючок, за который может зацепиться то, что читать не должно, но читает.

— Канцелярит, — говорила Нина Максимовна, расхаживая между столами, — придумали не дураки и не от бедности

души. Канцелярит — это язык, из которого выкручены все крючки. «Имело место происшествие». Не «случилась беда» — беда весит, беду слышно за версту. «Имело место». Гладко, как галька. Ни одной заусеницы, не за что взяться. Когда вы пишете о них — вы обязаны писать так, чтобы им было не за что взяться. Красиво напишете — считайте, окликнули.

На четвёртой неделе им впервые выдали красную копирку.

Её вносили в класс в железном ящике, листы пересчитывались дважды, и работать полагалось в нитяных перчатках — не для защиты рук, как понял Артём, а для защиты листа: копирка брала след с голой кожи. Он вспомнил, как подписывал договор в опорном пункте — на такой же копирке, голой рукой, бороздой, — и как никто, ни один человек в комнате, не предложил ему перчаток. Это было не упущение. В этой конторе, он уже знал, упущений не бывало — бывали решения.

Писали простое, отглаженное веками упражнение: опись содержимого спичечного коробка. Двенадцать спичек, одна из них обгоревшая. Задача — чтобы написанное «село»: правильно составленная опись на копирке прижимает описанное, и коробок, лежащий на столе, становится чуть-чуть более коробком, чем был: крепче закрывается, ровнее лежит, перестаёт болтаться в кармане.

У Зои село с третьего раза. У Муна — с первого, и Нина Максимовна посмотрела на его лист долго и без удоволь-

ствия. У Паши не село вообще.

У Артёма село так, что треснул стол.

Не громко — по дереву прошла тонкая, с волос, трещина от коробка к краю, как трещит лёд, схватывая брошенный камень. Одиннадцать спичек в коробке легли — он почувствовал это ладонью через перо — как патроны в обойму. Обгоревшая — отдельно, навсегда, приговорённо обгоревшая. Нина Максимовна остановила класс, взяла его лист двумя руками, в перчатках, на просвет.

И Артём увидел то же, что она.

Под его строчками, между ними, в красном поле копирки проступал второй нажим. Слабый, вдавленный, без чернил — как проступает на следующей странице блокнота то, что писали на предыдущей. Только предыдущей страницы не было. Почерк был не его. Почерк был детский, старательный, с наклоном в другую сторону, и складывался он не в опись.

«тём а вы скоро»

Печь в углу гудела ровно. Класс молчал, ничего не заметив, — на просвет смотрели только двое.

— Занятие окончено, — сказала Нина Максимовна обычным голосом. — Листы к пересчёту. Савельев — останьтесь, поможете с печью.

* * *

Они жгли учебные листы вдвоём, по номерам, вслух. Его опись Нина Максимовна отложила последней — и не сожгла.

Сидела, держала её на коленях перчатками и смотрела на огонь.

— В восемьдесят третьем году, — сказала она вдруг, — я поставила запятую. Вам расскажут про это дело на учёте, в главе «типовые ошибки», очень поучительно рассказывают: неверная пунктуация, двойное прочтение, погиб человек. Не верьте главе. Запятая стояла верно. Я её поставила там, где мне продиктовало... — она пошевелила пальцами, не находя слова, и Артём узнал жест: так же искали слово женщина на берегу, старший на корточках, Вейс в дверях. Здесь вообще все время от времени останавливались на одном и том же месте — на краю словаря. — Продиктовало второй нажим. Я тогда тоже была молодая и тоже слышала сквозь бумагу. Я решила, что это подсказка. Что тот, кто пишет сквозь меня, видит лучше. И я поставила его запятую вместо своей.

Огонь в печи качнулся.

— Кто погиб? — спросил Артём.

— Тот, кто писал, — сказала Нина Максимовна. — Второй нажим — это не почта, Савельев. Это рука в проруби. Ей нельзя дать схватиться за ваше перо, потому что перо — это прорубь и есть, а тот, кто хватается, тратит на это последнее. Мой — потратил. Сорок три года тишины. Ни одного нажима. — Она повернула к нему голову, и глаза у неё были совершенно сухие. — Ваш — жив. Ваш пишет вам с той стороны красной копирки и спрашивает, скоро ли вы. И поэтому слушайте меня, мальчик, слушайте старуху, у которой

сорок шесть растворов и одна запятая: на копирке вам писать нельзя. Пока — нельзя. Каждая ваша строчка на ней — это прорубь, к которой он бежит. А лёд после каждого раза тоньше. Вы поняли меня?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.